

**ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Издательский проект
«РУССКИЙ ГУЛЛИВЕР»



**Ян
БРУШТЕЙН**

РОДОСЛОВНАЯ

Книга стихов и прозы

РУССКИЙ ГУЛЛИВЕР

Москва * 2025

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б89

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Издательский проект «Русский Гулливер»

Руководитель проекта Вадим Месяц

Бруштейн, Ян.

Родословная : Книга стихов и прозы. — М.: Русский Гулливер ; Центр современной литературы, 2025. — 200 с., ил.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

*Моим внукам Анне Максимовне
и Максиму Максимовичу*

ISBN 978-5-91627-321-2

- © Я. Бруштейн, 2025
- © Я. Бруштейн, М.М.Бруштейн,
компьютерная графика, 2025
- © Б. Бруштейн, Я.Бруштейн,
А.Егоров, фото, 2025
- © М. Муслимова, послесловие, 2025
- © М. Китайнер, макет, 2025
- © Русский Гулливер, издание, 2025

Мы уже почти неразличимы —
Мальчики поры послевоенной.
Нам всего досталось не по чину,
Не пора ли уходить со сцены?

Всё ещё шагаем понемногу —
Ладим слово к слову, копим страсти.
И свою дорогу, слава Богу,
Почитаем прошлым лишь отчасти.

Но в душе меж двух эпох зависли
Мальчики военного замеса...
Отчего же часто взгляд завистлив
Тех, кого несёт на наше место?

Нахлебались — сами и со всеми,
Жили так, что разрывались вены.
И плевать, что истекает время
Пацанов поры послевоенной.



СЕМЬЯ В ВОЙНЕ И МИРЕ

* * *

В далёком скудном городке,
Где проходила налегке
Белогвардейская пехота,
Где отдыхали от похода
Красноармейские полки,
Где вдаль смотрел из-под руки
Махно с подгнившего балкона,
И где сгушалось время оно,
А слово тихое «погром»
С утра сочилось над двором...

В блокадном сером Ленинграде
Просили Бога — Бога ради
Спасти и как-то прокормить,
А дед не уставал корпеть
Над обезумевшей буржуйкой.
Там варево дышало жутко:
Вздыхал и прел сапожный клей,
Похлёбка, лучшая на свете,
И для семьи, и для друзей,
И, понемногу, — для соседей...

В седых Синявинских болотах
Почти пропавшая пехота
Шла на прорыв, как на парад —
Остатки неподсудной роты.
И кто-то вышел, говорят.
Отец со снайперской винтовкой...
Как выжил он, не знаю толком.
Хрипел потом, во сне крича —
Еврей, похожий на грача.
А Ладога жила упрямо.
Мою едва живую маму
Полуторка везла с трудом,
Уже по кузов подо льдом...

А я иду в привычном ритме,
Собака обновляет след.
Кого теперь благодарить мне
За то, что вижу этот свет?..



МАМА МУСЯ

* * *

На границе города и мира,
Там, где за дорогой — бурелом,
Мама безнадёжно раму мыла
И молчала что-то о былом.

Мама у меня была упряма.
Дым и гарь садились на стекло.
Потому она и мыла раму,
Хоть её от этого трясло.

Видно, в мире не хватало света.
Чтобы солнца луч сюда проник,
Мама раму вымыла, и это
Тёмный час отсрочило на миг.

* * *

Мой мир застыл. Все тропы заросли
Сухой травой и горькими грибами.
И только слышится в немыслимой дали:
«Сыночек, Яничка, иди скорее к маме!»

Уже бегу, уже недалеко,
Но каждый шаг труднее, вязнут ноги
В асфальте этой выбитой дороги...
Я крикнул бы, но бьётся в горле ком.

Никто не вёл в пропавшей жизни счёт
Набитым шишкам, порванным коленям...
Судьба последней каплей утечёт,
Всё заживет, всё залатает время.
А если боль останется — и пусть,
Она растает, изойдёт, утонет...
И по-щенячьи я лицом уткнусь
В родные и забытые ладони.
Моя мамочка, Муся Пятницкая.

Она не воевала. Она просто работала в блокадном Ленинграде, пока были силы. Потом её, полумёртвую, вывезли по Дороге жизни, которую в это же время защищал мой будущий папа.

В эвакуации мама тоже работала — на военном заводе, в КБ, временами теряя сознание от истощения и невозможной усталости.

В Ленинград вернулась сразу после прорыва блокады — безумно боялась за родителей, которые выжили только благодаря тому, что у деда, сапожника, были припрятаны два ящика столярного клея, и мешок брикетов из рыбьей кожи и осетровых хрящей. Из них и варили похлёбку, добавляя картофельную шелуху, которую выменивали на вещи и немудрёное золотишко у поваров обкома партии.

Мама очень болела, и уже не могла работать. Потом встретила одноклассника Борьку Бруштейна — единственного парня из класса, живым вернувшегося с войны. Он ходил с тростью после ранения и жутко хрипел — потерял голос в Синявинских болотах.

Они полюбили друг друга и сразу поженились. Он, потерявший актёрскую профессию и не знавший, куда приткнуться, и она — с трудом встававшая с кровати и ходившая пошатываясь.

Врачи категорически запрещали Мусе рожать, но она пренебрегла всеми предупреждениями и дала жизнь сначала мне, а потом, через одиннадцать лет, и моему чудесному любимому брату!

Мама была нереально доброй, она помогала многим, даже тем, кто её трогательной добротой злоупотреблял.

Она умерла в 46 лет от перитонита — не перенесла банальную операцию по удалению желчного пузыря (бабушке такую же сделали в 78 лет). Не дождалась внуков, не увидела брата взрослым, не прочитала моих книг. Как бы она гордилась!

Она ведь однажды взяла да отправила мои юношеские стихи хорошо ей знакомому поэту и писателю Илье Эренбургу. И в ответ получила ободряющее письмо. Главное я запомнил на всю жизнь: «Способности есть, а дальше всё зависит от него самого!»

...Я успел с мамой попрощаться — незадолго до этого вернулся из армии. Она уже почти никого не узнавала, бредила. Но в какое-то мгновение вынырнула из мглы и, узнав, улыбнулась мне, а потом снова уплыла по морю бреда...

Как же мне её потом не хватало!

Почему-то мама давно не посещала мои сны. Папу вижу, разговариваю с ним, а мама не приходит.

* * *

Мама давно не приходит ко мне —
В муторном сне, в предрассветном огне,
В мороке хвори, в ковидном бреду,
Даже когда за порогом бреду.

Только порой, в подступившей тоске,
В лодке, ползущей по нищей реке,
Там, где, уже задыхаясь, гребу —
Чувствую мамину руку на лбу.

Голос — как ветер над быстрой водой:
«Мальчик потерянный, мальчик седой...»
И растворится неведомо где.

Лёгкие камни в тяжёлой воде.

* * *

Из ада везли по хрустящему льду,
Дрожащую девочку Мусю...
Я к этому берегу снова приду
Теряясь, и плача, и труся.

Полуторка тяжело ползла, как могла,
Набита людьми, как сельдями...
И девочка Муся почти умерла,
Укрыта ковром с лебедями.

А там, где мой город сроднился с бедой,
Где были прохожие редки,
Ещё не знакомый, такой молодой,
Отец выходил из разведки.
Над Ладогой небо пропахло войной,
Но враг, завывающий тонко,
Не мог ничегошеньки сделать с одной,
Почти что погибшей девчонкой...

Встречали, и грели на том берегу,
И голод казался не страшен...
И Муся глотала — сказать не могу,
Какую чудесную кашу...



Я УЖЕ СТАРШЕ

Всю ночь мне папа снился. Я просыпался, потом засыпал, и сон продолжался с того же места. Такой жизнеподобный сон, последовательный... причём происходили события, которых в реальности никогда не было.

Хороший сон, добрый!

Мы много ездили на папином жигулёнке, встречались с какими-то людьми, потом папа репетировал с совершенно мне не знакомыми артистами, причём они почему-то читали наизусть ... мои стихи, которые я на самом деле сочинил намного позже! А папа ругался, что стихи странные и противоречат смыслу пьесы.

Когда репетиция закончилась, он надел свой парадный пиджак с военными наградами (это было странно, папа доставал его только раз в году, в День Победы), и мы пошли гулять на набережную у Ивановского цирка. И всё разговаривали, не могли остановиться.

Я порывался прочитать моё, посвящённое ему, стихотворение, но вспомнил, что оно ещё не написано.

А потом зазвонил телефон, и сон оборвался на полуслове.

Сердце жало, и в горле было горячо.

* * *

Мой отец,
корректировщик миномётного огня,
Спит — кричит, встаёт — не ропщет,
только смотрит на меня.

А когда глаза закроет —
то в атаку прёт, как все,
То опять окопчик роет на нейтральной полосе,
То ползёт, и провод тащит,
то хрипит на рубеже...

Папа, ты меня не старше, мы ровесники уже.
Слёзы обжигают веки, эту боль в себе ношу.
Ты остался в прошлом веке,
я всё дальше ухожу.

Отчего ж не рвётся между наша общая судьба?
Это я огонь кромешный вызываю на себя,
Это я с последней ротой,
с командиром на спине,

И в Синявинских болотах
сердце выстудило — мне.

Голос твой — не громче ветра...

Не расслышу, не пойму...

Почему же я всё это раньше не сказал ему.

Имя моего отца

Мой отец. Папа. Суровый и нежный, взрывной и трогательный. Для меня всегда — друг. Пример и упрёк в моем вечном разгильдяйстве. В молодости был чемпионом Ленинграда по боксу. Великолепный фехтовальщик — потом это позволит самому ставить бои на сцене.

За его спиной была война, с первых дней (ушёл добровольцем, отказавшись от актерской брони), с блокадного Ленинграда — его родного города, в солдатских чинах, фронтовым разведчиком-радиостом, снайпером и артиллерийским корректировщиком — дважды вызывал огонь на себя!

Был одним из немногих, выживших на Невском пятачке — сумел переплыть Неву по шуге. Потом — тяжёлые ранения и контузии. В Синявинских болотах потерял голос, и не смог вернуться в питерскую Александринку, где до войны талантливо начинал актёрствовать, будучи учеником великого Николая Симонова.

Потом в театрах о нём сплетничали, что «защитый», бывший алкоголик, потому и сипит жутко. А он не пил. Вообще. Организм не принимал. Однажды в тех же Синявинских болотах обморозил руки, было трудно работать на рации. Офицеры предлагали выпить стакан спирта, чтобы согреться... Не смог...

Его алкоголем был театр.

После войны поступил в питерскую консу, окончил блистательно, стал режиссёром музыкального театра. И пошёл работать ... в драмкружок на один из ленинградских заводов. В театры никуда не брали. Он был «внучатым учеником» расстрелянного Мейерхольда. Руководитель его курса, поздний ученик Мастера, стал одним из персонажей разгромного постановления ЦК. Ждал ареста, но, к счастью, вовремя умер от инфаркта. Дипломникам предложили написать в документах дру-

гого руководителя курса. Все согласились. Фронтовик Борис Бруштейн отказался.

Через год рванул в ЦК и грохнул полученным на фронте партбилетом по столу всеильного Суслова. Требуя или выгнать из страны, или расстрелять, или дать работу. Странно, но не арестовали, как ожидал.

На следующий день поехал в Улан-Удэ, в оперный театр.

Этот год в Бурят-Монголии я, тогда мелкий дошкольник, почему-то отлично помню. И стопки декораций во дворе театра, с которых я, пыхтящий альпинист, однажды летел кувырком (и как только шею не свернул!) И мой дебют на балетной сцене (не смейтесь).

Папа тогда как режиссёр, на пару с балетмейстером, поставил балетный спектакль «Собор парижской богоматери». И там в прологе я изображал маленького Квазимодо. Под музыку увертюры двигался как обезьянка, и кормил хлебом хорошенькую маленькую буряточку — Эсмеральду. А после этого большой человек в чёрном плаще подхватывал меня и уносил по спиральной конструкции куда-то под колосники. Было страшно и жутко интересно!

Мне даже какие-то денюжки платили, и я на них покупал всякие вкусности для моей вечно болевшей мамы-блокадницы.

Потом были Новосибирск, Свердловская оперетта, Пятигорск... Уезжал, обычно, разругавшись с начальством. Талантами царедворца не обладал. В Свердловске «сцепился» с Ельциным, который пытался руководить творческим процессом. Уже в девяностых посмеивался, глядя на президента в «ящике».

По той же причине за всю жизнь так и не дождался никаких отличий. Великий оперный режиссёр и друг Борис Покровский говорил о тёзке: «У него нет званий, но есть имя...»

Папа сам считал, что в Иванове были его лучшие 10 лет. Золотые спектакли. Гастроли в обеих столицах.

Так называемую «классическую оперетту» не жаловал за слабую драматургию, брался ставить, только если было хорошее либретто. Делал мюзиклы, когда и слова-то такого никто не знал.

Его любили и побаивались. Вылетал на сцену, ошарашивая показами. Яростно хрипел на бестолковых и ленивых. Рассказывали, что однажды хмельной рабочий сцены, увидев идущего навстречу главрежа, от ужаса и предчувствия неизбежной расплаты выпрыгнул в окно. Со второго этажа. И долго бежал к горизонту под хохот актеров. Может и миф, конечно... Но не без причины возникший.

Его актеры были лучше всех. Трогательные, романтические, комичные. Самозабвенные. Никогда не забуду, как в Москве сломавший ногу актер-комик, играя Короля в «Обыкновенном Чуде», должен был пронестись по сцене в стремительном танце. Станцевал как никогда. На одной ноге.

Потом, когда отец уехал, снова «не сойдясь характерами» с чиновниками, были отличные спектакли в других театрах, но «ивановский феномен» уже не повторился.

Я вот всё думаю — не стыдно ли ему за меня?

Старухи

А в нашем дворе берёзы шумят,
А в нашем дворе народилось ребят,
Окрепли всего за полгода.
И только старухи, бессмертный обком,
Не будут с добром говорить ни о ком,
Такая ковалась порода.

На детской площадке обсели скамью.
Про нашу семью и про вашу семью,
Про то, от кого залетела
Соседская девочка, кровь с молоком...
Они же, старухи, с добром ни о ком,
Такое старушечье дело!

Наш мир они видят порой как в дыму,
Их лучше оставить в привычном дому,
Очнутся — и сердце взорвётся!
Пусть дальше не помнят о том, что вовне.
Их внуки воюют на новой войне,
И кто-то из них не вернётся.

И всё-таки в мае оркестр духовой
Накроет горячей волной — с головой,
И вздрогнут тяжёлые руки.
Их пальцы, как прутья корзин, сплетены.
Так слушают песни далёкой войны
Суровые наши старухи.

* * *

Мой брат бородат, преисполнен огня
И радостной веры.
Возможно, мой брат осуждает меня,
Надеюсь, что в меру.
Он беден, и ноша его велика:
Всевышний да дети.
В его бороде утонули века,
В глазах его ветер.
Он там, где ракеты летят во дворы,
Он вместе со всеми.
Лежат между нами века и миры,
Пространство и время.
Молись же, молись, чтобы здесь, на звезде,
Огни не погасли...
Приехал ко мне на один только день —
Я плачу, я счастлив.
Его поджидают судьба и хамсин,
Пути и потери.
Что делать, так вышло, он Божий хасид,
И ноша по вере.

А я, стихотворец, вовеки неправ,
И верю не слишком...
Печаль моя, свет мой, возлюбленный рав,
Мой младший братишка.

* * *

Вальсок уходящего мая
В невольные слёзы вотру.
Прижмёмся покрепче, родная,
Полегче вдвоём на ветру.

А прошлое холодом дунет,
И травы запахнут, как мёд...
Но двадцать второе июня
Неюное сердце сожмёт.

Трамвайное

Какие смешные катили трамваи
По улице полупустой,
И злые ветра до утра подвывали,
Просились ко мне на постой.

Так вышло, что самую малую меру
Пришлось мне спасти из огня...
И если я крикнул бы граду и миру —
Кто нынче услышит меня!

Мой дом,
 словно детский бумажный кораблик,
Летит без руля и ветрил,
Не знаю, кому приготовлены грабли —
Я снова на них наступил.

Так будет: о самом плохом забывая,
К стеклу прислонюсь я щекой,
И снова поеду на старом трамвае,
Махнув на прощанье рукой.



ОСТРОВА

Острова

1.

Наутро после рукопашной
Не мог я даже воду пить.
О Боже, как же было страшно!
Но невозможно отступить.

Я не запомню эти лица.
Кипит вода в большой реке.
Но, знаю, вечно будет сниться
Кровь на штыке, кровь на штыке.

1968, Амур

2.

На тех островах,
 где кровь стекала из моего рукава,
Растут не наши деревья, чужая трава,
И чужой рыбак черпает рыбу своим сачком,
Знаешь, рыбы там сколько —
 можно ходить по воде пешком.

Мне не жалко ничуть:
 вот тебе рыба, а вот вода...
Но землю, где наша кровь... никому... никогда!

* * *

А дедушка скажет «Лехаим»,
А бабушка даст пирожок...
Не время, а мы утекаем,
И медленно таем, дружок.

Случилось что должно на свете —
На мелочь судьбу разменял...
Но папа на велосипеде
Ещё покатает меня.

Ещё я поплачу над мамой —
Ушедшей, седой, молодой,
Ещё постою я, упрямый,
Под нашей печальной звездой.

* * *

Ленинградская моя кровь
И блокадное во мне эхо...
Жаль, что нет нигде маяков,
Чтобы в этот город уехать.

Ты полнее в стакан лей,
Буду пить я на сей раз
За сапожный сухой клей:
Он моих стариков спас.

Абрам и Лиза

...Дед Абрам был тихий, негромко-весёлый, любил незло так подшутить над близкими, за что регулярно получал тычка от крупной и дородной нашей бабушки.

Несмотря на свою малозаметность и небольшой рост, дед чуйку имел уникальную. За несколько месяцев до войны подхватился и, несмотря на насмешки родни, увёз жену и дочь в Ленинград, куда его давно звали на «Скороход» модельщиком. Пережили они Блокаду, голодали люто, но спаслись.

А все, кто остался в Лубнах, легли в ров под пулями бандеровцев.

Моя родня лежит во рву
Под городом Лубны.
Бывает, я во сне реву —
Последыш той войны.

Там по ночам горит земля,
Не забывая зла.
Моя еврейская семья
Бурьяном проросла.

Под ними горя три версты,
Над ними свет ничей...
И не приносят им цветы
Потомки палачей.

...Бабуля умудрялась слыть едкой, громкой и нежной одновременно. С круглым татаристым лицом. По её непроверенной версии, она и была татаркой, взятой во младенчестве шестнадцатым ребёнком в еврейскую религиозную семью. После смерти родителей-дворников соседи не бросили, выкормили и воспитали.

Далеко під Полтавою

Лубны, Миргород, Диканька — ты попробуй, чудик, встань-ка на забытые следы.

Девочкой была бабуля, и степные ветры дули, и стихали у воды.

Принимала речка Сула всё, что смыло и уснуло, уносила до Дніпра —

Все испуганные плачи, все девчачьи неудачи, все побегии со двора...

Лубны злые, золотые, в прежнем времени застыли, словно муха в янтаре,

Вместе с криками погрома, вместе с ликами у дома, и с убитым во дворе.

Миргород, Диканька, Лубны... Снова улицы безлюдны, только ходит в тишине

Николай Василич Гоголь — вдоль по улице убогой, в страшном бабушкином сне.

Да, я знаю, что ударение в названии города ставится на последнем слогe, но так бабушка говорила!

Она единственная из нас знала иврит, читала Тору и молилась. А с дедом на идише всё больше ругалась, чтобы мы с братом не поняли.

Как я любил ее имя — Лииза, бабуличка Лизулечка, Лизацветик... И она меня, первого внука, обожала.

Всё шутила: «За что мы не любим наших детей? Наши дети — это наши враги. За что мы любим внуков? Наши внуки — враги наших врагов!»

Волшебное слово «кура»
останется на века,
и бабушкина фигура,
похожая на облака.
Из маленькой синей птицы
могла она сотворить
такое, что будет сниться,
пока не прервётся нить.

Но когда, настигнутая блокадой, совсем ещё не старой умерла моя мама, мы все поняли, как бабушка любила единственную дочку. Похожая на облако, Лизуля наша как-то сдулась, поникла, и всё повторяла:

«Не дай вам Бог пережить своих детей...»

Потом мы переезжали из города в город, и старики влеклись за нами, как нитка за иголкой. Родных, кроме нас, у них не было — все погибли на Украине в гетто, во рвах и печах крематориев...

И везде дедушка, прекрасный обувщик-заготовщик, как-то быстро находил «неофициальную» работу. Видимо, подпольные цеховики были уже в любом городе СССР! Ставил свой ножной, еще дореволюционный, «Зингер» в кладовке, на толстую резину, чтобы соседи не услышали и не донесли «куда следует», да и шил, шил, всё больше по ночам.

Маленький сапожник, мой дедушка Абрам,
Как твой старый «Зингер» тихонечко стучит!
Страшный фининспектор проходит по дворам,
Дедушка седеет, но трудится в ночи.

Бабушка — большая и полная любви,
Дедушку ругает и гонит спать к семи...
Денюжки заплатит подпольный цеховик,
Маленькие деньги, но для большой семьи.

Бабушка наварит из курочки бульон,
Манделех нажарит, и шейка тоже тут.
Будут чуют запах наш дом и весь район,
Дедушка покушает, и Яничке дадут.
Дедушку усталость сразила наповал,
Перед тем, как спрятать всего себя в кровать,
Тихо мне расскажет, как долго воевал:
В давней — у Котовского, а в этой ...
будем спать...

Маленький сапожник, бабуле по плечо,
Он во сне боится, и плачет в спину мне,
И шаги все слышит, и дышит горячо,
И вздыхает «Зингер» в тревожной тишине.

Безумно, до обморока и сонного предутреннего плача, боялся фининспектора и «обехеесес». Но как-то проскочил, ни разу по-серьёзному не попался. Видимо, спасало и то, что дважды фронтовик, все это знали, и пионеры приходили поздравлять с праздниками, и на стене висела подаренная Котовским шашка, к которой дед даже прикасаться боялся. И мне, малому, всполошено кричал: «Яничка, деточка, не трогай, обрежешься!» Потом с облегчением в музей отдал. Там была смешная табличка: «Шашка бойца бригады Котовского Абрама Пят-

ницкого». А деда бывший разбойник, потом знаменитый красный командир, восхитившийся новой обувкой, просто-напросто мобилизовал сапожником! Оружия наш крошечный дедуля никогда в руках не держал, кроме одного раза.

В Отечественную его, уже немолодого мужчинку, семейного, снова призвали, по личному распоряжению будущего маршала артиллерии Николая Воронова, тоже из-за понравившихся сапог. Так и служил при штабе, шил сапоги да ремонтировал.

Но однажды был прорыв немцев. Штаб, в отсутствии начальства, оказался под угрозой, и мой тихий дедушка взломал оружейку, вооружил всяких писарчуков, похоронную бригаду, поваров и тому подобных тихушников, и повёл обороняться. Их бы, конечно, прихлопнули мгновенно, но подоспели наши танки, и всё устаканилось. Так дед и не повоевал. Я его потом спрашивал, стал бы он стрелять в людей. Он долго и мучительно думал, но потом всё-таки сказал: «Они не люди, они фашисты...»

Позже ему сам Воронов медаль «За отвагу» на грудь повесил.

Да, трусом он точно не был. Порой его чуткие пальцы помогали сапёрам в их опасных делах.

...Хоронили дедушку с салютом, с речью офицера из военкомата. Бабушка прожила ещё много лет. Однажды пришли навестить — бабуля категорически отказывалась жить с нами в одном доме, «любите меня издали, а то надоем» — а она лежит на полу, на чистом одеяльце, на спине, ручки пухлые сложены, умытая, одетая в нарядное, и не дышит.

Блокадные сухари

А бабушка сушила сухари,
И понимала, что сушить не надо.
Но за ее спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари.

И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом, прямо за углом...
Но по ночам одно ей только снилось —
Как солнце над её землёй затмилось,
И горе, не стучась, ворвалось в дом.

Блокадный ветер надрывался жутко,
И остывала в памяти «буржуйка»...
И бабушка рассказывала мне,
Как обжигала радостью Победа.
Воякой в шутку называла деда,
Который был сапёром на войне.

А дед сердился: «Сушит сухари!
И складывает в наволочку белую.
Когда ж тебя сознательной я сделаю?»
А бабушка сушила сухари.

Она ушла морозною зимой.
Блокадный ветер долетел сквозь годы.
Зашлась голодным плачем непогода
Над белой и промёрзшею землёй.

«Под девяносто, что ни говори.
И столько пережить, и столько вынести».

Не поднялась рука из дома вынести
Тяжёлые ржаные сухари.

Крошки на ладони

Я до сих пор съедаю крошки со стола.
Как бабушка-блокадница учила.
Так мама делала, пока со мной была,
Потом война её настигла и добила.

Но от неё во мне остался тихий свет —
От них, родных, обглоданных Блокадой,
Все, все они ушли, но след поныне свят,
Пусть и живём во времена разлада.

Всё чаще по ночам я вижу их глаза —
И снова боль мне тихо сердце тронет.
Пусть нам грозят бедой слепые небеса —
Но крошки собираю я в ладони.

* * *

Как все старики, я обрушился в детство.
Простуженный нос покраснел и сопит...
Бабуля привычно поможет раздеться
И тихой попевкой меня усыпит.

И деду расскажет, что доктора Сашу
Намедни забрали, а он — фронтовик.
Гудит коммуналка: всем Когана жалко,
Какой он вредитель, представьте на миг!

За стенкой, за спинкой пытит керосинка,
Бунтует, коптит и не варит мне суп...
Но мне уже снится, что я по тропинке,
Как взрослый, в авоське картошку несусь.

А бабушка Лиза картофелин сизых
Наварит, посолит и маслом польёт,
Тушёнки добавит — последки ленд-лиза...
А время стекает и тает как лёд.

Куда же из этого прошлого деться?
Наш век — на страничку набором «петит».
От нынешней жизни спасаемся в детство,
И рады, что память сквозь годы летит.

Мотл, сын Шаула

Две семьи моих стариков разительно отличались друг от друга.

Проста и неприхотлива была жизнь маминых родителей: дед сапожничал, а бабушка торговала газировкой возле своего же дома на Пушкарской. Имея за спиной по три класса хедера — еврейской начальной школы, они были природно интеллигентны, тактичны и легко общались с людьми любых уровней и положений.

Папины родители были, по тем временам, покруче, однако чинами не мерились и зазнайством совершенно не отличались.

В первую секунду знакомства дед Матвей ошарашил своей некрасотой. Его невероятный череп выдавал врождённую, видимо, гидроцефалию, но на умственных качествах она нисколько не отражалась. Искромётно остроумный, многогранно образованный, дед на первых же минутах разговора вызывал общий интерес и восхищение.

Я помню его уже очень большим, тяжело и мучительно передвигавшимся, но, вопреки всему, он сыпал шутками, всех развлекал и утешал, а розыгрышам вообще не было пределов.

В доме часто бывали знаменитости из Мариинки, много пели, смеялись, и дед во всём всегда верховодил. Он к этому времени уже перестал работать зам.директора знаменитого театра имени Кирова, но там его любить, а главное — уважать не перестали.

Судьба его была подстать доставшемуся этому поколению невероятному, счастливому и страшному времени.

Вырос он в тени громадной фигуры моего прадеда, который, судя по рассказам знавших его, был действительно грандиозен.

Мой прадед, плотогон и костолом,
Не вышедший своей еврейской мордой,
По жизни пёр, бродяга, напролом,
И пил лишь на свои, поскольку гордый.
Когда он через Финский гнал плоты,
Когда ломал штормящую Онегу,
Так матом гнул — сводило животы
У скандинавов, что молились снегу.
И рост — под два, и с бочку — голова,
И хохотом сминал он злые волны,
И Торы непонятные слова
Читал, весь дом рычанием наполнив.
А как гулял он! Стылый Петербург
Ножом калёным прошивая спьяну,
И собутыльников дежурный круг
Терял у кабаков и ресторанов.
Проигрывался в карты — в пух и прах,
Но в жизни не боялся перебора.
Носил прабабку Ривку на руках
И не любил пустые разговоры.
Когда тащило под гудящий плот,
Башкою лысой с маху бил о брёвна.
И думал, видно, — был бы это лёд,
Прорвался бы на волю, безусловно!..

Наш род мельчает, но сквозь толщу лет
Как будто ветром ладожским подуло.
Я в сыне вижу отдалённый след
Неистового прадеда Шаула.

Прадед Янкель-Шаул уже зрелым человеком приехал в Россию из Дортмунда торговать лесом. Собрал плоты и по Балтике на буксире повёл их в Швецию. Дело было осенью, налетел шторм, плоты разметало так, что ничего и никого нельзя было спасти: буксир сразу отошёл подальше и не совался в это месиво из брёвен. Сумел выплыть только один человек — мой прадед.

Поскольку капитал был потерян, он так и остался в России и до самой смерти проработал бригадиром плотогонов на Онеге и Ладоге — озёрах штормовых, гиблых. Плотовщики считали его заговорённым, поскольку больше он ни одного бревна не потерял. Побаивались его буйного характера, но и уважали за лихость и недюжинную силу.

Погиб прадед в 92 года (был абсолютно здоров, и даже все зубы имел свои) странно и страшно: чужие плотовщики по пьянке решили насильно окрестить могучего старика-еврея. И в свалке то ли столкнули его в воду, то ли сам он бросился под плоты — так этого никто и не узнал...

«Шаул родил Мотла», когда прадеду перевалило уже крепко за семьдесят. Дитя было точно от него, тут уж никакие инсинуации невозможны: дед вырос уменьшенной копией родителя-гиганта.

До двадцати лет дожил, имея за пазухой всё тот же трехклассный хедер, работал кочегаром. Но после революции и гражданской войны, уже при НЭПе, подался на рабфак, и после него, как отличник, был послан в Лондон, в Высшую коммерческую школу. По пути выучил наизусть разговорник, а за первый год учёбы довёл свой английский до вполне приемлемых пределов.

Вернулся он уже в другую страну, первые массовые посадки прошли волной и смели в том числе тех, кто его посылал в Англию.

Приткнуться дед сумел в конторе по управлению искусствами, как уж там она ни называлась, в которой настолько проявил себя, что вскоре был назначен заместителем директора знаменитой Мариинки, в то время уже носившей имя убиенного С.М.Кирова. И проработал в этой должности до своей послевоенной тяжёлой болезни.

Директора театра менялись, часто это были фигуры декоративные, и реально всем сложным хозяйством рулил именно он, сын буйного плотогона.

Самая тяжкая ноша легла на плечи моего деда Матвея в военные годы. Ему пришлось вывозить театр в эвакуацию в Молотов, ныне к нему вернулось имя Пермь, организовывать жизнь большого творческого коллектива в очень непростых условиях.

При этом семья — моя бабушка Роза и консерватorka тётя Фрума — сначала оставались в Ленинграде, пока дед не смог их забрать в эвакуацию.

Спасло их, видимо, то, что будущий мой отец — их сын и брат, воевал здесь же, на границе Ленинграда, и порой, вырываясь на побывку, подкармливал родных из своего скудного солдатского пайка. Не случайно потом всю оставшуюся жизнь мой папа мучился от непроходящей блокадной цинги.

А дед Матвей тем временем вкалывал как проклятый, тянул на себе огромное театральное хозяйство, участвовал в создании ныне знаменитого Пермского хореографического училища и находил время разыскивать пропадавших по деревням творческих людей.

Об этом мне потом, когда я учился в ГИТИСе, рассказывала Дора Борисовна Белявская — педагог по вокалу, профессор, воспитавшая Татьяну Шмыгу, Тамару Синявскую и ещё множество знаменитых певцов. У неё

в первые же дни эвакуации украли продовольственные карточки, и дед сделал всё для совершенно до того не знакомого человека: устроил на работу, добыл жильё и прокормил до конца месяца.

Людам вокруг казалось, что он двужильный. А на самом деле переходил на ногах два инфаркта — и от перенапряжения, и от трёх сообщений, что его сын пропал без вести: когда выходил из окружения, и когда воёвал в штрафбате, а потом во фронтовой разведке.

Окончательно деда свалила похоронка, тоже ошибочная, но тяжёлый инфаркт-то был настоящим!

В начале пятидесятых каждое лето дед снимал дачу в Сестрорецке или Разливе. И вот там-то я от него попросту не отходил. С моим Мотей было так весело и здорово, он столько знал историй и игр... Но порой я видел, как закусывал дед губу от какой-то невозможной боли, и отворачивался к стене, пока не приходил в себя.

Когда дед умер, мне, пятилетнему, долго не говорили. Мы ведь с ним были такими друзьями!..

Послевоенное

Это детское счастье озноба и жара —
Ноги ватные — вовсе не выйдешь.
А в гранёном стакане остатки отвара,
И бабуля мурлычет на идиш.

Я тихонечко плачу — для полной картины,
А на стенах — разводы и тени...
Мамин голос: «Спасибо, что не скарлатина!
Полетели, дружок, полетели».

И несёт, прижимая несильной рукою,
Всё по кругу, куда же ей деться.
И блокадная память зовёт, беспокоя...
Питер. Послевоенное детство.

Перекрёсток

Я утром вышел из пальто, вошел в седой парик.
Старик с повадками Тельца стучал в литую медь.
Шёл ветер с четырех сторон,
вбивал мне в глотку крик,
И шрамы поперек лица мне рисовала смерть...

В окно с наклеенным крестом я видел, что бегу
Там, где у хлебного стоит, окаменев, толпа —
На той проклятой стороне, на страшном берегу,
Куда всегда летит шрапнель, бездушна и слепа.

Смотрите, я улёгся в снег, пометив красным путь,
И мамин вой ломал гранит, и гнул тугую сталь...
Я там оттаю по весне, вернусь куда-нибудь,
И позабуду, что хранит во все века февраль.

Я сбросил эту седину, я спрятал в пальтецо
Свои промокшие глаза, небывшую судьбу.
От страшного рубца отмыл промёрзшее лицо,
И в памяти заштриховал: по снегу я бегу....

Точу ножи!

Страшноватый, кривоватый,
он ходил: «Точу ножи!»
Голос тихий, как из ваты, как из каменной души.
Мы дразнили инвалида, рожи корчили вдали,
И швырял он, злясь для вида, мёрзлые комки земли.
Шляпу надевал из фетра, улыбался криво нам,
Молча раздавал конфеты осторожным пацанам.
А под вечер, водки выпив,
не сдержав тяжёлый вздох,
Он кричал болотной выпью:
«Швайне, ахтунг, хенде хох!»
Бормотал, дурной и жалкий,
про войну, про спецотдел,
Как боялся, как сражался, как десятку отсидел.
С воем задирали штанину, и совал протез в глаза,
И стекала по щетине бесполезная слеза.

...Утро стыло в переулке, и не видело ни зги.
За окном, в пространстве гулком,
слышались его шаги.
Между нами тьма такая...
Через время, через жизнь
Слышу голос полиция: «Подходи, точу ножи!»

Плацкартное

Единственный из проклятого рода,
Плевал в колодец и не дул на воду,
И никому не верил на Земле.
Он заплатил за бацию-полицая...
Не разглядел тогда его лица я
В плацкартной ненасытной полумгле.

Он говорил, не мог остановиться,
И бился голос как слепая птица —
Казалось, что расколется окно.
Он говорил о лагере, о воле,
И я, пацан, объелся этой боли,
И словно бы ударился о дно.

Цедил слова он, бил лещом по краю
Нечистого стола. И, обмирая,
Смотрела злая тётка на него.
Он пиво пил, и нервно цыкал зубом,
И тётке говорил: «Моя голуба...
Не бойся, я разбойник, а не вор!»

Он растворился в городке таёжном,
И все зашевелились осторожно,
Шарахаясь от встречного гудка.
И пили водку, хлеб кромсая ломкий,
И только мама плакала негромко,
И говорила: «Жалко мужика...»

Радистка Шура

У моей соседки тёти Шуры
На мешок похожая фигура,
Три козы и зуба вроде три,
Пять сынов раскиданы по свету,
Но от них вестей давненько нету,
Как ты на дорогу ни смотри.

А на праздник Шура надевает
Две медали, и бредёт по краю
Старого безлюдного села.
Солнышко гуляет ярким диском...
На войне она была радисткой,
Но уже не помнит, кем была.

Пусть на Шуре кофта наизнанку,
Но зато она поёт «Смуглянку»,
В ноты попадая через раз.
Говорит мне: «Выпьем самогонки!»
Старый голос — непривычно звонкий
И в слезах морщины возле глаз.

Коврик с лебедями

Вот коврик: лебедь на пруду,
Русалка на ветвях нагая,
И я там с бабушкой иду,
Тащить корзину помогаю.

Меня пугает Черномор,
И рота витязей могучих,
Когда они тяжёлой тучей
Встают из вод, стекают с гор.

Дымит фашистский танк вдали,
Копьём уже пробит навывлет.
Бегут бояре столбовые
Со вздыбленной моей земли.

Но сквозь разрывы, сквозь беду
Я вижу: кот идёт упрямо,
И пирожками кормит мама
Его, и птицу на пруду.

И сказки он кричит навзрыд,
И песни он поёт, каналья,
И цепь его гремит кандално,
И дерево его горит!



МЕСТА СИЛЫ



ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЛЕНИНГРАД

Меня тут не раз пытались повоспитывать: ты, мол, петербуржец по рождению, а сейчас — ивановец, а не ленинградец!

Так вот — я родился ленинградцем, живу и помру ленинградцем...

И мои родители, блокадники, — ленинградцы.

И мои бабушки-дедушки, блокадники — ленинградцы.

И всё это — совершенно безотносительно к исходному персонажу! И к тому, что моего Ленинграда уже нет в этой странной реальности.

Мне возвратиться в Ленинград
Как видно не дано,
Я был бы рад, и нет преград,
Но кончилось кино...

Давно родные за бугром,
И милых нет квартир,
И ходит время с топором,
Доламывая мир.

Мой ленинградский дом по ул. Шамшева, 11...
Здесь я жил в дедовой квартире до девяти лет.

В 2010-м году, когда я приехал в Питер после многолетнего перерыва, меня неприятно поразил кодовый замок на воротах, и я тогда ушёл в дождь расстроенный. Настроение было аховое.

я Фонтанку и Невку с ботинок сотру,
отряхну этот дождь и асфальтную крошку...
я вернулся в свой дом не к добру, не к добру,
я как будто бы прожил всю жизнь понарошку.
где-то там, где верста поглотила версту,
где стоят города без дождя и тумана,
я зачем-то дождался вот эту весну,
и сошел на перрон, и сошел бы с ума, но

незадача — я трачу последние дни
меж облезлых домов,
 словно псов обветшалых...
против шерсти их глажу, прошу — прогони,
прогони, Ленинград, чтобы сердце не жало.

он меня об асфальт приласкает лицом
и забросит в тяжёлое чрево вагона.
навсегда провалюсь то ли в явь, то ли в сон —
ты прости, Петербург, мы уже не знакомы.

Но в следующий приезд погода была замечательной, настроение — тоже, поскольку поэтический фестиваль «Разведённые мосты» и вообще Питер оставили самые чудесные впечатления, и в последний день я таки поехал на родную Петроградку. Когда подошёл к воротам, неожиданно для самого себя взял да позвонил в бывшую нашу квартиру. Мне ответил совершенно ленинградский женский голос, сейчас так мало кто говорит в переполненном понаехавшими Питере. И на мою просьбу впустить во двор, подышать воздухом детства и поностальгировать, последовало приглашение зайти на чаёк.

Господи, как же это было хорошо! Я даже посидел в бывшей нашей комнате... А чай пили на кухне, где мы когда-то гнездились всей большой семьёй.

Уже нет на этом свете ни папы с мамой, ни деда Матвея с бабушкой Розой, папиных родителей... Любимая моя тётя Фрума, консерваторка и обладательница острого язычка, умерла в Америке, там же живут два моих двоюродных брата. Но на этот раз я словно увидел их вместе, уж простите за сентиментальность.



Всё было там, где утро коченело,
Где с головой не соглашалось тело,
Я шёл из Петербурга в Ленинград.
Названья улиц плыли и двоились,
Как будто в мыле заново творились
И Зимний, и мосты, и Летний сад.

Моя походка становилась вещей,
Спина прямее, и другие вещи
Вдруг вызревали на моих плечах.
Дома росли, и поднимались втрое,
Уже я был мальчишкой и героем
Весь при ремне, фуражка на ушах.
Я шёл из школы через три квартала,
И жизнь меня за фалды не хватала,
А тихо, словно за руку вела.
Я в дом врвался: «Вот пятёрка, мама!»
И маму обнимал, и рос упрямо,
Пришёл я в Ленинград, и все дела.



Когда я уходил, дав себе слово больше не возвращаться в прошлое, над двором, как тогда, в детстве, летали горластые чайки — так, как я их однажды и рисовал по памяти.

Я ещё немного постоял на другой стороне улицы, посмотрел на старый, но вполне презентабельный дом, пофотографировал, и неожиданно услышал из маленькой уличной кафешки: «Захады, дарагой, я тебе такой барашкин рёбрышки пожарю!» Невысокий кругленький азербайджанец, одновременно и хозяин, и повар, оказался прав — рёбрышки у него получились отменными, да и бакинский чай с травами не подвёл.

Вдобавок к этим явно премиальным для меня удовольствиям, обнаружилось, что кафе притулилось к тому жуткому бетонно-стеклянному Дому культуры, похожему на фикса у этой старой улицы, которого вообще не было в моём детстве. А был заброшенный котлован, перегороженный стенками и вечно залитый водой. И мы, огольцы, сколотив из старых досок и дверей плоты, плавали там, играя в пиратов и не боясь утопления. По очереди сваливались в воду, но бдительные товарищи тут же вылавливали неудачника. Я, естественно,

плюхнулся с плота в самое неподходящее время — в октябре, и долго потом валялся дома в кашле и соплях. Но удовольствие, безусловно, того стоило!

Вообще на улице Шамшева экстремальных развлечений хватало.

В домах тогда ещё было печное отопление, и необходимое топливо хранилось в дровяных сараях, занимавших изрядную площадку между домами.

Вот где было раздолье — лазить по крышам, время от времени проваливаясь и калеча руки-ноги!..

Мне старая улица Шамшева
Прощамкает вслед нецензурно.
Доныне душа моя там жива —
В сараях за каменной урной.
Её поджигали беспечно мы,
И статные милицьёнэры
Неслись, получая увечия,
Ругаясь и в душу, и в веру,
За нами. Но мы, слабокрылые,
Взлетали над крышами ржавыми,
Над ликами, лицами, рылами,
Над всей непомерной державою,
Над тихой квартиркой бабусиной
(Пушкарская, угол Введенской),
Домов разноцветные бусины
Сияли игрушками детскими.
Любили мы, к ветру привычные,
Отличную эту затею,
И крылья, к лопаткам привинчены,
Никак уставать не хотели.
Смотрели на город наш махонький,
Туда, где такой бестолковый,
Помятой фуражкой размахивал
Восторженный наш участковый.

Ах, Питер, Питер, мой дорогой Ленинград...

Прощай, мой умирающий февраль!
Ты старый враль — всё о весне бормочешь.
Умри, тебя нисколечко не жаль,
Ты видишь: март несётся что есть мочи.

Я был зачат в таком же феврале,
В седой любви блокадного разлива,
И Ленинград был первым на Земле,
Кто ждал меня тревожно и пугливо.

Осенний холодок в моей крови,
Февраль, какой же ты захочешь дани?
Балтийский дождик — вспомни, окропи
Мои следы, и лёгкий пар дыханья
Поднимется не быстро в небеса...
Прощай, февраль! Осталось три часа.

Это осень, господа!
Это ветер с Ленинграда
Гонит облачное стадо
К нам, в слепое никуда.

Говорит мой пёс: «Беда,
Стынут лапы, мокнут уши!»
По двору летят старухи,
Исчезают навсегда.

Вот такая ерунда —
Бесполезно здесь кусаться...
Настигает ленинградца
Ленинградская вода.

Ленинградские ветры, осколки огня...
Из беды они вышли, из маминой боли,
Из блокадной печали, из вечной юдоли,
И навывлет пробрили меня.

Я там был. Я там не был. И меньше двух лет
Отделяли меня от последнего взрыва,
И была тишина, как девчонка, пуглива,
И с трудом пробивался рассвет.

Так живу, так несу этот холод в душе.
Ленинградские ветры, родные до плача...
Что без них этот день? Ничего он не значит
На последнем моём рубеже.

Мой внутренний Ленинград истаял и обветшал,
Он давно не прикрепляется
к пространствам и вещам,
Но там, на Петроградке,
словно крепкий зуб, мой дом,
И братья мои ещё не сгнули за кордон.

Крылатые львы, озябли вы на мосту,
Вскрикиваете простуженно:
в Москву, мол, летим, в Москву,
Разбрызгивая позолоту, раскальваете пьедестал.
Пришёл бы я к вам, родные, но выдохся и устал.

Мой внутренний Ленинград,
осыпающийся с холста,
Печальны твои кварталы, и невская гладь пуста,
Вываливаются из рамы, обугливаются края...
Но можно там встретить маму
с коляской, в которой я.



**ГОРОД
У ПЯТИ ГОР**

**Небесный город Пятигорск,
Забытый на дороге к Раю...
Я на краю, я выбираю
Каштанов горсть, и в горле кость.
Давно мы врозь, но в полный рост
Иду, и узнаю по крою
Курортных призрачных героев,
Которых знать мне довелось.**

**Летает каменный орёл —
От нас недвижимыми крылами
Он закрывает окоём.**

**Что потерял я, что обрёл?
Мы не меняемся ролями,
Но остаемся там вдвоём.**

Я очень долго почти ничего не помнил о своём детстве.

В последние годы оно проявляется, эпизодами, яркими и подробными.

Пока порог — три года. Оттуда я помню, как стою и смотрю сквозь доски забора, а папа и мама уходят, и такое горе...

Мама потом рассказала, что это меня отвезли с детским садом на дачу, я продержался неделю, и в первые же выходные мамочка не выдержала. Она увидела мой полный тоски взгляд, вернулась ... и забрала меня домой! Но этого память уже не удержала. Только слышу, как причитает надо мной бабушка, на непонятном языке: «Фейгелэ, фейгелэ...»

Вот и сегодня вспомнил, как будто кино смотрел...

Мы тогда жили в общежитии Пятигорского театра музкомедии, оно располагалось с тыла, между театром и Горячей горой. На этом чудесном, исхоженном отдыхающими пригорке, мы, мелкая шелупонь, и проводили всё возможное время: объедались зелёной алычой, пили в «Цветнике» тухлый нарзан, в результате, выпучив глаза, убегали в ближайшие заросли сирени, распугивая молодых курортниц, развлекавшихся с местными жиголо.

Здесь мы устраивали настоящие сражения с такими же недорослями-казачатами из станицы Горячеводской, которая распласталась по ту сторону Горячки-горы. Дрались без злобы, но до крови. Это было особым шиком — припереться домой с кровавой юшкой, размазанной по лицу. И заявить рыдающей маме: «А мне совсем не больно!»

Все комнаты общежития выходили на огромный балкон — крышу склада декораций. Здесь ели, пили, любили, женились, ругались, и даже дрались порой!...

Все молодые артисточки были восхитительны, я их по-мальчишески обожал, а они меня всячески привечали и воспитывали...

Вообще это было время первых детских влюблённостей.

Наденешь ты лодочки лаковые,
Пройдёшься у всех на виду,
И парни, всегда одинаковые,
К точёным ногам упадут.

Глаза, до ушей подведённые,
Стреляют их по одному...
У мамки — работа подённая,
У батьки — всё в винном дыму.

Откроешь с подчеркнутым вызовом
Ненужный, но импортный зонт.
Витёк, военкомовский выродок,
В «Победе» тебя увезёт...

Слепая луна закачается,
И я, прилипая к стеклу,
Увижу, как ты возвращаешься
По серым проплешинам луж.

Пройдёшь мимо окон, потухшая,
В наш тихо вздыхающий дом.
В руках — побеждённая туфелька
С отломанным каблуком.

Ушедшего детства мелодия,
Дождя запоздалая дрожь...

На красной забрызганной лодочке
Из жизни моей уплывёшь.

А ещё там, за Горячкой, были сады и бахчи!

Честно говоря, эти яблоки и дыни были нам нафиг не нужны: на пятигорских рынках местные плоды стоили сущие копейки, в урожай ящик абрикос (огромных, продолговатых, медовых) можно было купить дешевле, чем бутерброд с мыльной колбасой в школьном буфете. Так они и стояли вдоль сбегающих вниз улиц — штабеля ящиков, и по асфальту тёк подбродивший в жару сок, и вились тучи небольших, но кусачих ос...

В общем, налёты на казачьи сады и бахчи мы совершали скорее ради сладкого чувства опасности и чтобы показать свою щенячью лихость. Заканчивались наши походы чаще всего благополучно: нас или не замечали, или со смехом угощали плодами от пуза.

Но иногда, особенно в совхозных садах, случалось нам нарваться на принципиального сторожа с берданкой, заряженной солью. Вот тут надо было тикать со всей возможной скоростью, что мои товарищи и делали.

Беда была в том, что поспеть за ними мне не всегда удавалось: сын блокадников, я был перекормлен бедной моей мамой, которая пуще всего боялась голода! Так что рос я весьма упитанным и медлительным мальчиком. Преодолеть это удалось только в отрочестве, когда папа отвёл меня к знакомому тренеру по классической борьбе и попросил сделать «из этого мешка» человека... Это, конечно, уже другая тема, но процесс оказался довольно мучительным, однако вполне успешным, что потом очень меня выручило в армии.

В нашей же истории, пока я разгонялся, сторож успевал шарахнуть вслед зарядом соли, и дважды я получал полную порцию в спину и пониже.

В первый раз я со страшной скоростью долетел до нашей горной речки Подкумок и долго отмокал в ледяной воде. Во второй раз меня задело так крепко, что я вообще не мог идти, а не то что бежать..

Первое вино

Вот, вспоминаю, как я впервые попробовал вино...

Нет, тот раз, когда я, мелкий первоклашка, в новогодье хватанул с праздничного стола полстакана «водички», оказавшейся славной советской водочкой — он не считается. Да я и не помню своих ощущений — проспал как застреленный почти сутки.

Но, поскольку вырос я в благословенном южном городе, где сухого, да и «мокрого», креплёного винишка было хоть залейся, пройти мимо него я никак не мог. В самом прямом смысле.

Дело в том, что на углу широкой улицы, стекавшей с горы от Верхнего рынка к Нижнему, рядом с которым я жил, и узенькой, ведущей к нашей маленькой двухэтажной школе, притулился глубокий подвальчик «Пиво и вино». На лестнице без перил, с выбитыми древними ступенями, плавал папиросный дым и кислотовато пахло винным перегаром. Нередко, спускаясь в эту преисподнюю, приходилось перешагивать через дремлющих на холодке завсегдаеаев.

Царил в чистеньком темноватом подвале немолодой армянин дядя Серёжа. Его безмерное брюхо, охваченное похожим на парус пиратского брига, когда-то белым фартуком, упиралось в стойку. Руки с короткими, толстыми и мохнатыми, как гусеницы-переростки, пальцами всё время что-то терли, переставляли, считали и, конечно, наливали. Кому пиво, кому портяшку, а кому, из-под стойки, и водочки.

Тогда мы и не знали, что такой вот дядечка по-правильному называется богатым словом «бармен»...

Дядя Сережа, правда, не сбивал коктейлей, и таких слов, как «мохито» или «маргарита», слыхом не слыхивал, ограничиваясь славным сочетанием пива и беленькой. Зато он был знаменит своим умением от-

крывать бутылки с местным «Жигулёвским»: неуловимым движением руки высоко выкидывал свой снаряд из-под прилавка, ловил другой рукой кверху доньшком, и незаметно сшибал пробку прямо над кружкой... Ах, как пенно текло это пиво в ёмкость, наполняя её больше воздухом, чем напитком! И выгодно было, и красиво.

Но этим вот небольшим жульничеством и ограничивалась невысокоморальность дяди Серёжи. Наш подвальный виночерпий был безусловным сторонником умеренности. Пьяным не наливал, лишнего не позволял. А уж ежели какой неосведомлённый забулдыга начинал рвать на себе нечистую майку и бросать в адрес благообразного армянина поносные слова, дядя Серёжа спокойно произносил: «Юрик, вынеси это...»

Дядисерёжиного племянника Юрика боялись все. Он почти не имел лба, говорил смутно и односложно, но обладал могучим торсом и похожими на столбы руками. Генетика ведь такая штука: в одном обожмёт, другого добавит сверх меры.

Юрик выходил из смутных глубин подвала и, не смотря на вопли и дрыганье объекта, выносил его на вытянутой руке туда, где лестница уходила в небо. И рваться назад, в винный рай, было совершенно бесполезно: Юрик мог и подзатыльника отвесить, а это было уже небезопасно для здоровья.

Меня в дядьсерёжин подвальчик впервые завлэк одноклассник Серый, сынок местного кэзэбешкого начальника — парень добрый и весёлый, однако шалопутный. Нам было по четырнадцать, но, здоровенные акселераты, мы надеялись сойти за совершеннолетних.

— Дядя Серёжа, — развязным голосом заявил Серый, — налей-ка нам по сотке «топориков»!

Замечу, что топорами тогда называли портвейн «777», весьма приличное пойло, за то, что цифры на этикетке были похожи на орудия палача.

— Ты еще маленький, тибэ толко сухой можно, — возразил улыбочиво Дядя Серёжа, плеснув нам в стаканы грамм по двадцать кисленького «Алиготе». — Деньги нэ надо, угощаю...

Так мы и повадились заходить в уютный подвальчик. Когда были деньги, выпивали немножко, заедая чудесными пирожками тёти Шушан, обожаемой дядьсерёжиной жены.

— Знаете, что значит Шушан? — всегда спрашивал наш виночерпий, — лилия!

И он поднимал к сводчатому потолку свой могучий палец....

Если денег не находилось, мы просто играли с Дядей Серёжей в нарды, слегка поддаваясь старому армянину, поскольку, по-детски радуясь победе, он угощал-таки нас и вином, и пирожками...

...но очнусь, очнусь я в Пятигорске,
у смешной исхоженной горы.
Алычи, еще зелёной, горсти —
очень вкусно, что ни говори.

Купим с другом семечек чудесных
у кавказской бабушки Кешо,
пусть горят от них кишки и дёсны,
все равно светло и хорошо!

Вспомнить бы, где дрались, обнимались,
где судьбу ломали, как пятак...
В памяти горчит любая малость,
хоть в осадке вышло всё не так.

И когда пробьёт слепая птица
сердце непутёвое во мне,
можно ль на секунду очутиться
не во сне, а в том беспечном дне,

где в гражданке, с якорем на пряжке,
я стучу в окно сквозь толщу лет,
и живое солнце нервно пляшет
на недавно вымытом стекле.

Потом я уехал в Москву, поступил в МГУ, и вернулся в наш чудесный курортный город только через полгода, с треском и позором изгнанный из храма знаний за не те, не там и не с теми читанные свои стихи. Впереди были три года неизбежной армии. Но пока, в первый же день, я рванул поскорее к дяде Серёже.

Однако над входом в знакомый подвал уже болталась вывеска «Пышечная» — порождение очередной антиалкогольной компании. И я вдруг почувствовал где-то за грудиной — нет, не боль — а тихий звук, как будто невидимая ниточка из юности взяла и оборвалась.

Потом уже, после дембеля, я ненароком встретил на нашей улице Юрика. Он был одет чисто, но как будто сдулся, опал весь, плечи его ссутулились.

Из его мычания и редких слов я понял, что дядя Серёжа умер почти сразу, как закрыли его заведение. А тётя Шушан жива, и кормит Юрика вкусной армянской едой.

1961-й

В четыре — очередь за хлебом,
И там встречали мы рассвет.
Я был худым, большим, нелепым,
Тринадцати лохматых лет.
Старухи, завернувшись в шали,
Приткнули плечики к стене.
Они, как лошади, дремали,
Не помышляя обо мне.
Похмельный инвалид Володя
Гармошку тихо тербил
И крепко материл уродин,
Кто в этом всём виновен был.
С подвывом он кричал, и с болью,
Обрубок давешней войны,
Что загубили Ставрополье,
Былую житницу страны!

Я дома повторял: «Вот гады!..»
Но стыд взрывался горячо:
Я ж помнил мамину блокаду
И папин Невский пятачок.
Горбушку посолив покруче
И крошки слизывая с рук,
В окно смотрел я на могучий
И равнодушный к нам Машук,
Мычал фальшиво Окуджаву,
Стихи лелеял в голове...

Кончалась оттепель в державной,
Пока неведомой Москве.

Витька

Кричал он мне: «А ну-ка, выдь-ка...»
И я тащился налегке...
Учил меня соседский Витька
Свинчатку прятать в кулаке
И бить с оттягом, прямо в поддых,
Потом с размаху, да в скулу...
Я от приёмов этих подлых
Как вспомню — до сих пор скулю!
Я так не мог. Стирая юшку,
Я клял дружка в звезду и мать...
Но город — яростный и южный
Меня уже не мог сломать.
Мой друг царил, лихой и строгий,
Пока — шпана, пока — не вор.
И Вовка, инвалид безногий,
Пел под гармошку для него.

Витька зарезали на рынке —
Там, где дышала анаша,
Где всё решали по старинке,
По праву силы и ножа.
Стать во дворе старшим отныне
Мне было выдано бедой.
Лежал он в серой домовине,
Растерянный и молодой.

Всё чаще сон меня уводит
В тот старый двор, в тот мир и дом,
Туда, где фронтовик Володя
Гонял босоту костылём.

Ленинград — Пятигорск

Видел тут в интернете фотографию, на которой богатая дама кормит своего кота чёрной икрой... Меня передёрнуло!

Дело в том, что в нежном возрасте я получил две сильные прививки от этого деликатеса, так что теперь моему тощему пенсионному кошельку сей тип чревоугодия не угрожает.

Я родился через два года после войны. Жили мы не то что совсем бедно, но достаточно скудно. Мама болела после блокады, так до конца и не оправилась, и работать не могла. Папа учился в Ленинградской консерватории на режиссёрском и подрабатывал где и как только мог. Зимой зависал на копеечной должности — ассистентом режиссёра в оперной студии при консерватории, а летом трофейной «лейкой» фотографировал отдыхающих на пляже в Сестрорецке. Вот это давало, при достаточном количестве солнечных дней, сносный доход, которого хватало уже не только на серые макароны, но и на картошку и всякую летнюю зелень.

А вот на мясо деньги оставались редко. В сезон мама прямо на берегу покупала вкуснейшую и почти ничего не стоящую рыбку корюшку, потом наступала очередь всякой другой балтийской рыбёшки, так что летом мой растущий организм получал достаточно белка.

Зимой было труднее. Мама старалась, пекла мне толстые блины, вареньем рисовала на них рожицы... но я уже не мог смотреть на это лакомство и мечтал о куске колбасы.

Жили мы в огромной старой квартире на Петроградской стороне, которую деду Матвеем выделили как заместителю директора Кировского (Мариинского) театра. Одна большая комната была наша, две маленьких занимала чудесная моя тётка Фрума с семьёй, а где умещались бабушка Роза с дедом Матвеем, я так никогда толком и не узнал — видел их разве что в нашей общей кухне.

Жили они получше нас. Когда гордого папы не было дома, старались нас с мамой подкормить. Но и им в то скудное время продуктов с трудом хватало. Дед, видите ли, был порядочным человеком и на большой своей театрально-хозяйственной должности не воровал.

И вот однажды, мне тогда было года четыре, бабушка где-то разжилась почти чёрным огромным коровьим сердцем. Его варили в ведре пол дня, и запах по всей квартире распространялся оглушительный и прекрасный! Я был таким голодным, таким несчастным, что забился в пыльный угол между шкафом и окном, и сидел там на корточках, просто утопая в слезах. Меня нашла мама — видимо, услышала сдавленные завывания — и я совсем раскис.

— Они едят, а нам не дают! — сквозь слёзы жаловался я.

Но тут, толкнув дверь своим обширным бюстом, в нашу комнату вплыла моя тётушка, и в каждой руке у неё было по тарелке, и на них исходили паром восхитительные тёмно-красные ломти.

— Ну вот, наконец сварились... — и тётя Фрума брякнула тарелками о стол.

Вот тут мне стало совсем плохо, от стыда за свои дурные мысли я окончательно разрыдался.

Господи, как же было вкусно жевать эти резиновые куски! Видимо, прежнего хозяина этого органа забили накануне естественной кончины... но всё было съедено непоправимо быстро.

Однако такая лафа случалась не каждый день. И папа нашёл прекрасный, по его мнению, выход.

В послевоенные годы на витринах ленинградских магазинов гордо высились пирамиды из стограммовых стеклянных баночек с чёрной икрой. Видимо, «наверху» решили подкормить блокадников. Покупали икру плохо, несмотря на бросовую цену — еда казалась непривычной. И вот папа стал откармливать меня этой, на мой детский вкус, гадостью: она так напоминала ненавистный рыбий жир! День за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем... Этот ужас мне до сих пор снится. Каково

же было облегчение, когда икра вдруг из магазинов исчезла, а где осталась, уже стоила как положено — дорого.

Я не думал — не гадал, что эта беда обрушится на меня ещё раз.

Это было в Пятигорске. Папа весьма успешно работал в местной оперетте очередным режиссёром, и неожиданно был приглашён в Астрахань на постановку спектакля. Результат местному начальствуглянулся, и молодого режиссёра начали приглашать довольно регулярно.

Из каждой такой поездки папа привозил чемодан... набитый банками и колёсами чёрной икры! Кошмар вернулся. Прессованную икру нарезали толстыми ломтями и клали на тонкие кусочки хлеба. Я был уже ответственным второклассником, и ел её безропотно, хотя и с тайным отвращением.

Утешало одно: вместе с икрой непременно прибывали две-три копчёные рыбины. Это была знаменитая большущая каспийско-волжская селёдка залом. Папа покупал помельче, сантиметров по 35-40, это получалось дешевле, да и полуметровая в чемодан не влезала.

Разворачивались несколько слоёв вощёной бумаги, и являлась королева всех селёдок!

Ничего вкуснее я до сей поры не ел. Что там осетрина или сёмга! Ломти залома были прозрачными, на них выступали капельки восхитительного сока, а запах разносился такой, что соседи по театральному общежитию начинали скрестись в нашу дверь, несли с собой разварную картошечку, пышный белый хлеб, горы кинзы и лука, головки чеснока, маринованную черемшу и непременно бутылочку «Столичной» — к возмущению моего трезвенника-родителя.

Пиршество продолжалось до полного уничтожения божественной снеди и надолго запоминалось небогатым жрецам Мельпомены.

— Не бойся, — шептал мне папа на ухо, — я несколько кусочков тебе на завтра припрятал!..

И я облегчённо вздыхал.

Ах, какие девочки были в Пятигорске!
Вишни да черешни я им всем дарил,
И волшебных семечек золотые горсти,
Но слова любовные я не говорил.

Там была глазастая, всех на свете застила,
Я ходил по струночке, я читал стихи...
Как же парня взрослого это угораздило —
Не дала дотронуться даже до руки.

Жизнь прошла, как не было,
наши внуки взрослые,
Что же этой поросли рассказать о том,
Как с казачкой юной я гулял под звёздами
И мечтал, что только с ней свой построю дом.



ЛЬВИЦА

* * *

Как ночь без звёзд,
Как плач — без слез,
Как без берёз — Земля,
Как в парусах звенящий Ост —
Без бега корабля,
И как без цели — верный шаг,
Без ненависти — враг,
Как быстрый бег карандаша —
Без радости.
И как
Без жара пламени — свеча,
Без путника — маяк,
Так без тебя — мой век и час,
Судьба и жизнь моя.

Эти стихи я написал девочке, которая училась на два класса младше меня в шестой Пятигорской школе. Совсем ещё ребёнок, она ходила по коридорам как принцесса. И не случайно — она ведь была прирождённая львица! Огромные её глаза были лучисты и смотрели на мир доверчиво, но строго. Треугольное личико и сплошное «теловычитание» привели к тому, что в школьном народе её прозвали «Глаза на ножках».

Удивительно, но об этой юной казачке никто никогда не говорил ничего плохого. Она была безупречна. И звали её чудесно: Надежда!

Обычно её сопровождали два высоченных парня, явно в неё влюблённые. Попробовал бы кто-нибудь обидеть их принцессу!

Впрочем, она и сама могла дать отпор. Однажды вражеская шпана решила «разобраться» с мальчиком из нашей школы. Случайно оказавшаяся рядом Наденька сняла туфельку с ноги и начала лупить недругов каблучком. Её, правда, вскоре забросили в колючий куст акации, но она, исцарапанная, не лишилась боевого духа.

Однако чужие парни были так ошарашены, что весь их пыл испарился...

А как она пела! Когда Надя выходила перед школьным хором и звонко врезала «Белеет парус одинокий», птицы в окрестных садах замолкали.

Незаметно мы стали с этой девочкой «гулять». Вечерами действительно с ней гуляли за ручку по чудесным Пятигорским бульварам, сидели на скамеечках, и я, само-собой, всячески распускал перья. Но юная казачка, воспитанная в строгих нравах, не разрешала даже в щёчку её поцеловать! И поскольку я, взрослый в общем парень, жаждал общения более тесного, вскоре был прогнан прочь.

Дальше у каждого из нас была своя отдельная жизнь.

Я после школы уехал в столицу, поступил на Отделение классической филологии в МГУ. Что меня туда занесло? Красивое название, видимо.

Учился я не очень старательно, и был бы, думаю, с позором изгнан за неуспеваемость где-то после летней сессии. До изучения ли мёртвых языков мне тогда было... Куда интереснее жаться по углам, стораю от смущения, в мастерских Вадима Сидура и Эрнста Неизвестного, слушать умных людей, порой даже поющих, как, например, казавшийся мне совсем старым красавец Галич... Бегать за портвейном и даже распивать эту га-

дость с великим и ужасным великим художником дядей Толей Зверевым...

В университете я сразу пришёл в местное литобъединение «Бригантина». Там были хорошие «официальные» поэты – Миша Шлаин, Саша Бродский. Они меня называли юнгой и во время многочисленных поэтических вечеров выпихивали на сцену Коммунистической аудитории, отбирая для этого самые мои «романтические», а попросту дурацкие стишки.

Но иногда я всё-таки читал то, что мне самому нравилось.

Какая тишина была в России —
Как будто в лодке с поднятым веслом,
И если на Оби траву косили,
То это слышно было под Орлом,

И лошади, забыв воды напиться,
Тревожно замирали на ветру,
И женщин зачарованные лица,
Словно рассвет, вставали поутру.

Какая тишина над миром встала!
Безбрежная, как поле, тишина.
Когда трава под Курском прорастала,
То на Оби она была слышна.

И женщин зачарованные лица
Ловили гулкий отзвук тишины...
Она лежала, как лежит граница
Войны и мира, мира и войны.

Даже странно, что такие стихи я сочинил в 17 лет!

На одном из таких вечеров, втором или третьем, произошёл скандал: во время произнесения виршей каким-то комсомольским поэтом в рядах начали вскакивать некие молодые люди и выкрикивать свои тексты, из которых я улавливал лишь отдельные, но такие непривычно сильные и образные строчки. А на сцену был брошен клок бумаги, на котором читалось:

Сидят поэты в «Бригантине»
Как поросята в тине.

Нарушителей спокойствия вывели из зала строгие дружинники, но вслед за ними «вывелся» и я. Как за дудочкой крысолова. Так и оказался неподалеку от смогистов – Лёни Губанова, Володи Алейникова, Саши Величанского... Увы, совсем ненадолго. Членом СМОГа – самого Молодого Общества Гениев я так и не стал – по молодости, робости и неприхотливости текстов. Но в компании Лёни где только не побывал: в гостях у Лили Брик и Анны Андреевны, на многих домашних чтениях... И на Маяке (так называли площадь Маяковского) со стихами засветился, и даже был удостоен визита, пользуясь термином Аксёнова, в «прокуренцию»)))

Так что с греко-римского отделения меня поперли уже не столько за учебное разгильдяйство, а скорее, повторюсь, за не те, не там и не с теми читанные стишки.

И отправился я на три невозможно длинных года в армию, умудрившись зацепить даже небольшую малоизвестную войну. Впрочем, это совсем другая история...

Я и не думал, что когда-нибудь снова увижусь с Наденькой.

Но когда я после дембеля вернулся в Пятигорск, мой старый приятель Серый, тот самый, за которого Надя сражалась с тувелькой в руке, позвал меня на новогодний вечер в проектный институт, где, как он сказал, обычно бывала хорошая музыка.

Когда мы вошли в зал, где уже всюду гремели танцы, я остановился как подстреленный: на сцене всюду лабал небольшой, явно самодеятельный ансамбль, а перед ним красовалась прекрасная солистка. Господи, как она пела!

– Серый, это же моя Надя! – возопил я

– Уже не твоя, – мрачно ответил мой приятель. – вон над всеми торчит белобрысый викинг, так они давно встречаются.

– Фигня, уведём! – ответил я, машинально проверяя, на месте ли мой морпеховский ремень с тяжёлой пряжкой, – Ты мне только спину прикрой.

До драки дело не дошло, хотя некое бурление, пока мы с Надей танцевали, в зале и происходило.

Так что ушли мы с девушкой после вечера уже вдвоём.

Как оказалось – навсегда.

Вскоре я уехал в Иваново, куда как раз перебралась моя семья, Надя поприезжала ко мне в гости, да так и осталась.

Недавно мы отметили изумрудную свадьбу – 55 лет совместной яркой, но очень не простой жизни.

Когда тебя ещё не было,
Я мечтал о тебе по ночам.
...Волосы твои по плечам рассыпаны,
В твоих глазах — зелёные искры.
Ты свернулась калачиком, нескладная девчонка,
испуганная моими ласками.
А утром
Ты отчаянно проснулась
и бросилась в холодную воду нового дня.

Потом ты остригла волосы,
Стала взрослой,
И утром уже не вскрикиваешь,
увидев меня рядом.
Ты знаешь себе цену.
На тебя оглядываются, и это тебе нравится.

Если я схвачу тебя на руки,
и закружу, и заставлю смеяться,
Ты прижмешься ко мне, поцелуешь,
И выскользнешь, как вода, из ладоней.
Но когда ты ещё спишь —
Голенастый подросток с испуганными губами —
Я целую твой висок,
тоненькую голубую жилку,
И мое сердце обрывается
В страхе за тебя.

И как же мало было шансов...
Мы были — вне, мы были — врозь,
Когда опомнившись, пространство,
Со временем пересеклось,
В такую закрутив пружину
И день, и ночь, и каждый год.
Порою думал: «Быть бы живу...»
Но чёрт горящих не берёт!

Моя звезда почти погасла,
Но я насытиться готов
Виденьем Яблочного Спаса
И горьким запахом плодов.
Лети, неистовая львица!
Ты там, где страсть, и жар, и бой...
Позволь мне тихо прислониться
К огню, пленённому тобой.

кинжальная строка секунды срока
от скорости и страсти осмелев
стихи кричал для той которой лев
свой знак отдал для той кому дорога
кому петля и обморок стиха
дыханье из подвала из-под пола
кому достался смысла остов голый
и бывших дней остывшая труха
кому привычен птичий тарарам
и голоса разбойные изгибы
мои слова её достичь могли бы
когда бы время улыбнулось нам



ТРИО МЕРИДИАН

Самое большое приключение в нашей, и, в первую очередь, Надиной жизни был, конечно, «Меридиан». В начале нашей совместной жизни она начала петь в любительском ансамбле, но быстро сбежала в декрет, дав жизнь чудесному сыну Максиму.

Однако в нашей семье не было принято оставлять таланты не раскрытыми. Так что, когда мою молодую жену позвали в уже существующий мальчуковый дуэт, спевшийся ещё в армии, я возражать не стал.

Знал бы я, к чему это приведёт! Коля и Володя стали Надиными партнёрами на много лет.

Математик Николай оказался отличным аранжировщиком, а потом и автором музыки к нескольким удачным песням. Володя долгое время гремел соло-гитарой в популярной местной группе, и обладал тенором тёплого тембра.

Очень быстро любительское Трио «Меридиан», пройдя все ступени самодеятельной иерархии, было приглашено в местную филармонию. Начались гастроли по стране и за рубежом, победы в крупнейших конкурсах, съёмки на тв и в кино. Надя даже сподобилась очень достойно сыграть одну из главных ролей в одном из лучших фильмов о войне «Торпедоносцы».

А какие композиторы работали с маленьким провинциальным ансамблем: Микаэл Таривердиев, ставший для ребят другом и наставником, Александра Пахмутова, Алексей Рыбников и многие другие.

Я же безропотно превратился в мапу, а сынище наш вообще жил с ключами на шее. Может, поэтому он и вырос таким самостоятельным. Хотя по маме скучал, а когда видел в кино, как она целуется с героем Родиона Нахапетова, ревновал жутко.

Трудная жизнь девяностых его не сломала, он выучился в музучилище и институте Гнесиных на студийного звукорежиссёра и аранжировщика, и множество лет блестяще работает в этом качестве в Хоре Турецкого.

Конечно, у меня была своя полосатая жизнь — работал в газетах, преподавал, гремел гитарой на бардовских фестивалях... и очень ждал, когда приедет на побывку моя любимая.

...Когда закончилась 45-летняя великолепная история Трио «Меридиан», Надя продолжила работать в филармонии солисткой-вокалисткой, голос её звучит до сих пор бесподобно.

Мы даже сподобились с ней сделать совместную программу: Надя пела, я читал свои стихи. Два таких концерта собрали полные залы, и мы останавливаться не собираемся.

Ну что, моя красавица,
Ты лучше, чем тогда была.
Не выпито с лица вино,
Не съедена с ладошки мгла.

Затеряны давно века,
В которых этот свет мерцал...
Я — из травы, ты — с облака,
Ну как сумели встретиться!

Казалось, будем вечно мы,
Но стало много толку ли —
Крича грачами вешними,
Мы годы перещёлкали.

И пеплом дни последние,
Засыпали постели нам.
Не оставляй во зле меня
Погасшим и потерянним!

Спугнёт однажды утро вой,
Стирая блики облика...
Пока я прорасту травой,
Ты растворишься в облаке.

Кто эту женщину придумал,
Кто колдовал, кто плюнул-дунул,
Кто знал: я с ней не обручён,
Но вычислен и обречён?

Жизнь прожита, судьба прошита
Суровыми стежками быта,
Но как же дышат эти швы
Шершавым запахом айвы!

Что я искал, какого смысла?
Наш год вильнул хвостом и смылся...
Что я из этих дней скрою,
Когда останусь на краю?

И вижу я, когда взлетаю
Над пережитыми годами,
Вот эту женщину во мгле
На опрокинутой земле...



**БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
КОКТЕБЕЛЬ**

Заколдованный город — не город почти,
Через бывшую Родину взгляд сквозь очки,
Эту боль, эту цель объяснить мне тебе ль:
Коктебель, говорю, посмотри, Коктебель...

Помолчи, прислонившись к его парусам,
Я бы сам, но прикован я к серым лесам,
Ты вдохни этот сон ковыля, чабреца
И солёной водой смой тревогу с лица.

Непомерная ноша — пожизненный срок:
Возвращаться, прощаться, не видеть дорог.
Заколдованный город заснул и затих.
Всё прими — за себя, за меня, за двоих.

Не помню уж, в каком стародавнем году, в эпоху раннего застоя, мы всей молодой семьёй дикарями отправились в восточный Крым, в легендарный Коктебель (тогда у него было временное советское имя — Планерское). Этот посёлок под Феодосией, связанный с именем мудреца, поэта и философа Макса Волошина, был избран отечественной богемой, и каждое лето сюда съезжались поэты, художники, музыканты и прочая творческая и просто свободная братия. На набережной живописцы выставляли свои картины, играли и пели молодые исполнители.

Еженощно на берегу, от Карадага до Юнге, звенели гитары: в одном круге — битлы, в другом — Окуджава, а в ином и тюремная лирика. Спать ночью в том Коктебеле было зазорно и обидно, добирали дрему днём на пляже, обгорая до головешек.

В первое же наше коктебельское лето мы с Надей решили поотдыхать в Волошинской Киммерии по очереди, чтобы наш израстающийся ребёнок Максим поплавал и позагорал подольше.

Когда Надя уехала, сурово встал вопрос пропитания. И мы, ещё с двумя молодыми семьями, нашли в прибрежных кустах старый ржавый котёл, вроде большого казана, отчистили его песком, и в нём стали готовить по очереди на костре. В дело шло всё, что удавалось добыть — овощи, сосиски, пельмени, мидии с волнорезов... Заправляли снятой простоквашей, которую за так отдавала нам соседка, старая и добрая армянка. В общем, получалось то, что Джером Клапка Джером и называл ирландским рагу.

Как же это было вкусно, да ещё с дешёвым кисленьким молодым винцом, которого было хоть залейся, и в автоматах, по 20 коп. стакан, и в ларьках, в разлив... Детям же разводили в воде грушевое варенье, банки с которым вдруг появились в полупустом местном магазине.

Попытки разнообразить меню с помощью коктебельского общепита нас сразу разочаровали. На ресторан денег не было, а кафе «Левада» в народе не случайно называлось «Блевадой».

Хуже всего было с мясом. В глазах у членов нашего кулинарного кооператива уже появлялся каннибальский огонёк. В связи с этим мне придется вспомнить совсем не красящий меня случай. Однажды мой мелкий тогда сын Максик с таинственным видом позвал меня и повёл кривыми коктебельскими переулками. Там на хилой лужайке паслась маленькая симпатичная овечка, привязанная к кольшку бельевой верёвкой.

«Это Стелла, — сказала дитя, — мы с ней подружались».

«Хорошая, — одобрил я. И непедагогично добавил: — Давай её на шашлык заберём?»

Ребенок строго посмотрел на меня и с выражением сказал: «Знакомых животных не едят!»

Мне было жутко стыдно.

...Когда уезжали, прятали котёл в кустах. Он прослужил нам не один год. Но однажды, приехав, казана нашего не нашли. Видимо, какой-то абориген или спёр для личных нужд, или сволок в металлолом.

Но тут как раз и эпоха сошла на нет...

Это были чудесные годы, точнее — лета. Наш сын стремительно превращался в долговязого подростка, и носился по берегу как Маугли.



Когда немилосердные врачи перекрыли мне пути на юг, Надя, не представлявшая себя без хотя бы недели в Коктебеле, вынуждена была отправиться в Крым одна. В поезде познакомилась с интеллигентной московской семьёй, пообещавшей устроить её к хорошим людям. Так она оказалась... на даче поэта и мудреца Владимира Алейникова, которого я знавал ещё по московским литературным баталиям далёкого 1965 года. Я тогда, поступив после школы в МГУ, оказался рядом с создателями неформального литературного объединения «СМОГ» – «Самого Молодого Общества Гениев», одним из лидеров и создателей которого и был Владимир Алейников.

Не раз в то лето мне икалось — разговоры в Коктебеле случались в том числе и о моей скромной персоне.

Вот всё думал: соберусь, да и махну в Коктебель. Но разве узнает пшенично-бородатый олимпиец Алейников в грузном седом человеке того красивого лёгкого и восторженного мальчика, который вчитывался в его волшебные строчки:

Когда в провинции болеют тополя,
И свет погас, и форточку открыли,
Я буду жить, где провода в полях
И ласточек надломленные крылья...

Но потом меня пригласили на Волошинский фестиваль, и я всё-таки подхватился и поехал в Коктебель... И встретились с Алейниковым, и я жил в его доме — как будто дружили всю жизнь! Так несколько сентябрей прошли в этом пристанище, переполненном друзьями, стихами, музыкой и разговорами за полночь.

Во сне береговой черты,
Где стёрты наши очертанья,
Где черти знойны и черны,
И словно бы причастны тайне,
Где непрерывны флирт и жор,
Где дамы словно на параде,
И где потрёпанный пижон
Спешит куда-то на ночь глядя —
Одни над бездной голубой,
Которая зовёт и тянет,
Мы, незаметные, с тобой
Пройдём незваными гостями.
Увлечены игрой ума,
Готовы всё раздать задаром,
Как только юная луна
Раскроется над Карадагом.

Красным сбрызнута серая ветошь заката,
Волны зло и отчаянно лупят в причал,
Там, где я их стихами не перекричал,
Воздух пряный и сладкий, как будто цикута.
Но слышна эта кроха, ночная цикада,
Заливается, словно в начале начал,
Как бы мир ни состарился, ни измельчал,
Всё же бляньем вторит овца из закута.

Отвечает ей птица из горнего дыма,
От которого тает глухая вражда,
Даже если бездонна и непримирима...

И не пробуй дремать под шуршанье дождя,
И не ври, что все стрелы истории — мимо,
И не жди, что спасёшься, во тьму уходя.

В твоём осеннем Коктебеле,
Где время стелется по дну,
Колокола под вечер били
И добивали тишину.

Как будто в непрерывном танце,
Людская пенилась река,
И ветер с моря пропитался
Бараньим духом шашлыка.

А там, где на излёте лета
Последний планер пролетел,
Гуляли пьяные поэты
В невыносимой пустоте.

Хвала неспящим в Коктебеле,
Поющим, пьющим и горящим
В кусте терновом, в лёгком теле,
Давным-давно сыгравшим в ящик.

Хвала плывущим в лунном свете,
На берег прущим кистепёро,
Встречающим последний ветер
Улыбкой бога и актёра.

Не видя этой жизни странной,
Где я застрял, смешной и старый,
Вы достаёте из тумана
Свои беспечные гитары.

И, если вы уже запели,
Я вас услышу в это лето...
Хвала неспящим в Коктебеле
И догорающим к рассвету.

В том месте, где песни срывались у скал
На злые ножи волнорезов,
Глушил я вино за бокалом бокал,
Но был омерзительно трезв.

И женщина та, без которой — кранты,
Певунья, чертовка и злюка,
Меня называла привычно на «ты»,
Но не было слышно ни звука —

Поскольку волна обгоняла волну,
И струны рвались у гитары,
И женщину эту, вовеки одну,
Судьба мне назначила карой.

И берег, давно отлежавший бока,
В ночи догорал, как бумага,
И прямо над нами башкою быка
Маячила тень Карадага.



ДЕРЕВО МОЕГО СЫНА

Шумят берёзы нашего двора,
Подрагивая голыми ветвями.
Им новый день побудку проорал
И отхлестал тяжёлыми ветрами.

За полчаса до первого листа
Весенний воздух пахнет зло и пряно.
Открыта и свободна высота,
И два кота уже орут упрямо.

О, рыцари немислимой любви!..
До первых листьев пять минут осталось.
Но кто же сердце лапами обвил?
Поди же прочь, моя скупая старость.

Наш двор затих, судьба чудес проста:
Творение, рождение листа!

У нас хороший двор: его заполняют огромные тополя, клёны и, конечно, берёзы. Вот этих-то красавиц, вместе с другими пацанами нашего двора, когда-то посадил мой сын-первоклашка. На машине одного из родителей детвора отправилась в загородный лесок, там ребята выкопали несколько крошечных берёзок, юную поросль, и потом укоренили их по периметру нашего двора. Деревца тогда были Максиму по колено.

Теперь, через без малого полвека, когда сынище, огромный и седой, приезжает в отчий дом, всегда здоровается с прекрасными деревьями.

Все они не только выжили, но и выросли выше нашего дома.

Фотографию одного из этих красавцев я поставил на обложку моей книги — и как символ нашей родословной, и как дерево — члена нашей семьи.

В начале нулевых я редко сочинял стихи, появлялись разве что наброски.

Мне тогда врачи категорически не советовали ездить в любимый Коктебель. Правда, позже я пренебрёг этими запретами и несколько раз побывал на чудесном Волошинском фестивале.

А на границе веков порой вырывались ностальгические строки:

Запретный плод, как прежде, сладок...
Жар туристических палаток
И Коктебеля суета
Ушли из жизни навсегда.

Под горкой — дача Чернышова,
И Ванечка нисходит снова,
Его сачок, как нимб, горит.
А в море — парус Микаэла,
И Макса золотое тело
С водой прозревшей говорит...

Все это не было, и было,
И вулканическое мыло
Мне в кожу въелось без труда.
Но непонятная беда
Меня навек отъединила
И отлучила навсегда.

Эти немудрёные строчки требуют пояснений.

Владимир Чернышов — кинокомпозитор, первым приютивший нас на своей даче в Коктебеле, однокурсник Микаэла Таривердиева по классу Арама Хачатуряна.

Микаэл — Таривердиев, тоже гостил в доме Володи. Он был не чужим человеком — другом и учителем Трио «Меридиан». Любимым занятием знаменитого

композитора было гонять по Коктебельскому заливу на доске с парусом, и делал он это на удивление ловко и красиво.

Ванечка — это вообще отдельная история.

Однажды мы всей компанией уютно сидели на Чернышовской веранде, попивали винцо и разговаривали на всякие творческие темы.

Вечера в Коктебеле бывали прохладными, мы уже кутались в пледы, и тут... из мглы появился мальчик явно дошкольного возраста, в шортиках и почему-то с сачком. Он был синий от холода.

Преодолев дрожь, он солидно заявил: «Я уже два часа слушаю ваши разговоры, и понял, что должен быть среди вас!»

Деточка был немедленно закутан в плед, напоен горячим чаем и накормлен плюшками.

Ванечка, так звали это чудо, стал нам с Надей, пусть и не сразу, очень близким человеком, названным сыном.

Ныне Иван Цыбин — телережиссёр, автор многих документальных фильмов, лауреат кучи премий.

Ну а Макс — родной и любимый наш сын, о котором я уже много чего рассказывал в этой книге. Добавлю только, что он нередко нас восхищает и удивляет. И тем, что стал блестящим профессионалом — саунд-продюсером и аранжировщиком Хора Турецкого, и тем, что неожиданно превратился в завязанного моржа...

Мой сын плывёт среди суровых льдин,
Совсем один, он фыркает моржово.
Он не похож на лоха и мажора,
Предмет любви русалок и ундин.
На побережье схожий с волком пёс
Ему провояет песню ожидания.
Мой сын тревожит воду сильной дланью,
И паром пышет побелевший нос.

Он выйдет из воды, как из беды,
Оставив за спиной тугие льды,
Ни в чём не признающий середины.

И пёс привычно бросится на грудь,
Спешит он льдинки горькие слизнуть —
Смешные слёзы брошенной ундины.

Мало того, Макс заманил в прорубь свою изящную жену Наташу, и ей это даже нравится.

Когда я после четверти века поэтического молчания снова взорвался стихами, одно из первых написал вот это:

Привет, отрезанный ломоть!
Ну, как сегодня превозмочь
Мою застенчивую память:
И этот запах молочка,
И в перевязочках рука,
И первое уменье падать...

Конечно, я тобой горжусь,
И на молчанье не сержусь —
Ты вырос у меня — трудяга!

Но в ожиданьи спуска флага
Порой коплю такую жуть —
Прорвётся, и сгорит бумага.
Живёт счастливая Москва,
Награждена моими внуками.
И я, спасённый встреч минутами,
Опять в стихи плету слова.

Да, внуки, взрослые уже люди... им я посвятил эту книгу.



ЛЕСТНИЦА В НЕБО

Мои друзья ко мне приходят,
Едва заметные во мгле.
Припоминаю — были вроде
Они на гаснущей земле.

И мы смеялись, пели, пили,
Любили девочек шальных.
Потом стихами, легче пыли,
Мы говорили — всё для них...

Мои друзья ушли, как ветер,
Но слышу эти голоса,
Когда смотрю я на рассвете
В твои бездонные глаза.

Там, где душа твоя летит...

Четыре года назад я узнал, что то ли в Америке, то ли в Москве (писали по-разному) умер мой самый давний, самый близкий друг юности Петя. Пётр Давидович, так его все потом называли.

Но для меня он оставался Петей, Пьером, с которым летние ночи напролёт мы, пятнадцатилетние, бродили по чудесному Пятигорску, читая наизусть любимые стихи. И когда я на третью ночь исчерпался, он добил меня поэмой «Облако в штанах» Маяковского и тремя главами «Евгения Онегина». Которого, кстати, знал наизусть целиком.

Память у Пети, превосходного шахматиста, действительно была феноменальная. А ещё — острый ум и отменное чувство юмора.

Потом была долгая жизнь, которая нас то сводила, то надолго разводила.

Когда, изгнанный из МГУ, я на три года загремел в армию, Петя не только писал мне длинные письма, но и приезжал в Майкоп, где я три года влачил армейское ярмо.

И я отвечал ему длинными ночными письмами, нередко в стихах.

Дом, как парус, под ветром гудит,
только нет нам пути по волнам,
Пусть корсаром глядит мой сосед,
на балконе дымя папиросой.
Не сорваться с насиженных мест,
не отправиться в плаванье нам,
И в последний кровавый набег
не вести одичавших матросов.

На приколе наш дом, наш фрегат,
и крепки, тяжелы якоря.
Золотая серьга и зазубренный нож
в дальнем ящике скрыты.
Но глаза наших женщин в ночи
как глаза полонянок горят,
Полонянок прекрасных,
в далёком набеге добытых.

Наши женщины, чем завоёвывать вас,
если робок наш век,
Если дождь по утрам
бесполезно ломает звенящие стрелы?
...Дом как парус под ветром гудит,
не смыкая встревоженных век,
Но крепки якоря, и отвыкло от волн
его тяжкое тело.

Я удивил и обрадовал Пьера, когда на спор научился брэнчать на гитаре и немедленно принялся напевать и новые мои, и некоторые старые стихи.

Потом, после армии, мой друг был свидетелем на моей свадьбе, а я, приезжая в Москву, всегда находил время для наших встреч.

Пётр стал выдающимся юристом, адвокатом, философом права, но эта сторона его судьбы оставалась за пределами нашего общения.

Зато другая ипостась жизни моего друга неожиданно стала точкой пересечения наших интересов.

Когда мы однажды встретились после большого перерыва (Петя долго работал как международный юрист в США), оказалось, что он глубоко увлёкся искусством Флорентийского Возрождения, в первую очередь — творчеством Микеланджело, и даже написал о нём несколько книг. Я их все потом прочитал, и как искусствовед (одна из моих профессий, 15 лет преподавал историю искусств) могу уверенно сказать, что это был свежий, новый взгляд на казалось бы хорошо известные факты и явления. Петя создал в России Флорентийское общество, в которое вошли многие знаковые люди российской культуры, и стал его президентом.

А для моего друга неожиданностью стало моё возвращение к стихам, этот творческий взрыв после шестидесяти лет. Он однажды заявил, что мои стихи совершенно флорентийские, к тому же я под его влиянием написал цикл «Sogni di Firenze (Сны о Флоренции)», и он хочет издать мой сборник с условием, что сам его составит и назовёт. Так в 2011 году появилось моё первое избранное с неожиданным названием «Тоскана на Нерли». Для этого сборника Петя написал большую статью о русских писателях и художниках во Флоренции. Книга есть на сайте Флорентийского общества.

Обложку для этого сборника я сделал сам, используя фрагмент флорентийской гравюры 15 века, которую увидел однажды на стене Петвиной квартиры. Потом, когда книга вышла и стала жить своей отдельной жизнью, Пётр, приехав на её презентацию в Иванове, торжественно подарил мне это бесценное изображение. Сейчас оно висит в моей комнате, часто подолгу смотрю на него.

Однажды в Новой газете вышел большой материал о Петре с ярким названием: «Микеланджело Баренбойм». Это точно о нём.

Время идёт, и мне всё больше не хватает моего друга.

Так сложилось, что моя жизнь начиналась довольно безалаберно, я совершал много ошибок... но это мои ошибки, и я ни об одной из них не жалею.

А вот мои друзья шли по жизни целеустремлённо, размеренно, и многого добились — и Пётр, и ещё один очень близкий мне человек, Александр, Саша.

В трудных девяностых он сам оборвал свою жизнь, и известие об этом буквально вывернуло мне душу.

Мы познакомились и подружились в тот короткий период 1965 года, когда я, семнадцатилетний, каким-то шальным образом поступил в МГУ, на отделение классической филологии.

Наши интересы не всегда совпадали: Саша, сын известного советского литературоведа, безусловно правого, продолжал семейную традицию и упорно учился, занимался спортом, а я разгильдяйничал по этическим тусовкам и мастерским неофициальных художников...

Но встречались мы нередко и много спорили — почти ни по одному поводу мнения наши не совпадали! Однако, видимо, противоположности и притягивались.

В Кривоколенный переулок
Войду, стезя моя легка,
И там куплю я пару булок,
Вино, бутылку молока
И папиросы.
С другом Сашей
Мы всё съедим и разопьём.
Нам по семнадцать. Я дурашлив.
А он силён. И мы вдвоём.
На той скамейке развалившись,
Совсем легонько подшофе,
Мы с ним — на улице столичной,
Я в «бобочке», а он в шарфе...
Сидим — форсим, но эта накипь
Нам не мешает по весне
Поговорить о Пастернаке,
О Сталине и о войне.
Бравируя стихом точёным,
Дразню его, пуская дым.
И разве что из-за девчонок
Порой ругаемся мы с ним.

Мы врозь в безвременье шагнули,
Лишь помнили издалека.
И настигали нас не пули —
Потеря смысла и тоска.
Я не был рядом в то мгновенье
Когда он срезал эту нить.
Не смог ни словом я, ни тенью
Тогда его остановить.

Вину мою избыть мне надо,
И знаю я в конце пути:
Когда-нибудь мы будем рядом —
Там, где душа его летит.



Лестница в небо

1.

Кроваво-красным подбоем выстланы облака.
Нас было когда-то трое, сделанных на века.
С этой высокой дружбой — времени поперек...
И всё-таки годы рушат то, чему вышел срок.

Резали по живому новые времена,
Погасшему, пожилому дружба едва ль нужна.
Плющило не по-детски, грызла вина виски,
И никуда не деться было нам от тоски.

А лучший из нас — нелепо бился, едва дыша.
Однажды он вышел в небо с десятого этажа.
И мне ли нести такое — если живой пока...
Кроваво-красным подбоем схвачены облака.

2.

Когда мы пойдём по Неглинной,
Как в юные годы — недлинной,
Где времени звон комариный
В рычании редких авто...
И Сашка, шагнувший в окошко,
И хворью обглоданный Лёшка,
И я, хоть живой — но немножко,
Болтающий что-то не то.

Пройдём по Трубе и Петровке,
Стаканы сопрём с газировки,
И в них раскидаем неловко
Чудесные «Три топора».
Мы встанем — три друга, три брата,
Где лестница в небо поднята,
И тихо мне скажут ребята:
«Пора нам, дружище, пора!..»



БАРДОВЩИНА И ОКУДЖАВОВЩИНА



Публиковать меня стали рано, но умеренно. В семидесятых — пара стишков в «Юности», маленькая подборка «из армейской лирики» в «Знамени» (кстати, неожиданно расхваленная в «Литературке»).

А потом я наваял поэмку о революции 1905 года в Иванове, искренне, но с молодым задором (это был мой период увлечения экспериментами Хлебникова). Напечатал сей опус журнал «Волга», сильно сократив самые, на мой взгляд, формально интересные, но идеологически недостаточно выдержанные, фрагменты. Год не помню уже, конец 70-х.

И очень быстро в главной газете страны «Правде» вышел обзор журнальных публикаций, в котором меня размазывали по кирпичу. Помню такую фразу: «Молодой ивановский поэт Ян Пятницкий (это тогда был мой псевдоним, мамина фамилия, под отцовской не печатали категорически) использовал святую революционную тему для своих формальных изысков»...

Незамедлительно и местные совписы раздолбали рукопись моей первой книги — да, несовершенной, клочковатой, но ругали-то не за это, а за «бардовщину и окуджавовщину»! До сих пор храню грозный и пафос-

ный отзыв известного профессора-литературоведа. Порой перечитываю, для поддержания жизненного тонуса! А один местный мэтр тет-а-тет снисходительно заметил, что русскую литературу должны делать русские люди. Это меня и добило.

Больше меня нигде не печатали ... до 2010 года!

Впрочем, нет, в нескольких московских и ярославских коллективных сборниках подборки проскочили, отправленные в издательства задолго до того. Но я к этому времени уже замолчал, как оказалось — ровно на 25 лет. И рукописи свои пожёг. Хорошо хоть жена моя замечательная заныкала и тем спасла три моих юношеских тетрадки и кое-какие черновики и наброски.

Конечно, совсем перестать сочинять мне не удалось: пел немудрёные песенки под гитару, даже стал как автор лауреатом нескольких фестивалей и покомандовал местным клубом авторской песни. Ещё и деньги зарабатывал лит.подёнщиной... но «серьёзные» стихи не хотел сочинять.

Снова начал я писать на пороге своего 60-летия, с выходом в интернет — спасибо профессору, джазовому певцу и поэту Володе Годлевскому, надоумил, и моей Наде, которая торжественно мне вручила деревянную шкатулку, полную отрывков и обрывков. Все это рухнуло на меня в новогодье между 2007-м и 2008-м. С тех пор я награфоманил десять бумажных и пару электронных книжек стихов и прозы, которые вышли в Иванове, Москве и Питере (все — не за счёт автора).

Несколько раз я пытался посылать подборки в журналы, но они безответно пропадали в эмпиреях. И я плюнул на все эти потуги. Ну, куда графоману в кашный ряд!

Однако однажды случайно где-то прочитал, что журнал «Дети Ра» готовит номер, посвященный сонету.

Их у меня было, и я, без всякой надежды, послал кучкой в редакцию, прямо на имя главного начальника. И был ошарашен, когда все (!) вышли в 11 номере за 2010 год! Дебют в 63 года!

После этого словно стена рухнула. Только за 2013 год вышли 14 публикаций, а всего — больше ста, я уже давно перестал считать.

Не так уж много журналов публикуют мои вирши и рассказы. Среди них нет ни Нового Мира, ни Знамени — туда не звали, а я и не лезу.

Зато уже несколько подборок вышли в «Дружбе народов». Ценю публикации в замечательных «Сибирских огнях» времён Володи Берязева. Люблю живущий поверх политики сильный американский журнал «Гостинная». А «Дети Ра», «Зинзивер» (особенно мной любим) и другие издания Евгения Степанова стали просто домом родным!

Вспомнил: однажды позвали в «Знамя», ради стихов о войне. С сожалением отказал — эти опусы уже были заверстаны в ближайший номер «ДН»!

Так судьба помирила меня с лит.прессой ... хотя я очень трезво оцениваю её нынешнее состояние и значение.

Ещё несколько почти случайных стихотворений «нового» времени — хотя многие, которые вы уже прочитали, тоже отсюда.

Определители звонков, и блокираторы замков,
И пара дюжих мудаков спасут ли от отстрела?
Смешно поэту одному —

ведь он не нужен никому!

И не дрожит в пустом доме его больное тело.

Конечно, я всё это вру, и тихий омут — не к добру.
Поэту страшно на ветру безвременья, забвенья.
Вопит и корчится душа,

и пусть в кармане ни гроша,

Но слушает он, не дыша, как умирает время.

Прости, ведь я лукавлю, брат:

он стал прославлен и богат,

На пальце — камень в сто карат,

и отдыхает в Ницце...

Но по ночам, испив вина, он знает, в чем его вина,
Обрывки строк лишают сна,

и бьется он, как птица.

Ты вспомни, клоун ли, пророк,

на крик ли, или говорок,

У перекрестья всех дорог

мелькни недужной тенью...

Вот так и жил бы без затей, не ожидая новостей,
Среди зверей, среди детей.

Но нет ему спасенья!

Железный зверь

Как река, стекает поезд, дождь дробится о стекло,
Город твой, в воде по пояс, к горизонту унесло.
Ни стихами, ни руками не достану — знаю сам,
И крутыми берегами поднимаются леса.

Горький запах папиросный,
гулкий тамбур ледяной,

Только слов ненужных россыпь

догорает за спиной.

Не сожгу о них ладони, не зажгу о них свечу,

На далеком перегоне снова сам с собой молчу.

А тебе сегодня снится то, что не подвластно мне,
А тебя чужие лица обступают в тишине.

В руку — сон, в дорогу — душу,

эти строки — прочь с листа.

Ночь залечит, и разрушит, всё поставит на места:

Наши встречи, наши речи,

прошлый дым, и горький чад,

Всё разрушит, и залечит, и разрубит всё плеча...

Жизнь прошла. Она за кадром.

Старый фильм — который год.

И уже мелькнул и канул мой последний поворот.

А дорога дальше длится, сталью отстояв права,

И ложатся на страницу нежеланные слова:

Пусть слепые эти тени унесёт железный зверь,

И земное притяженье не удержит нас теперь!

Ныряющий с моста бескрыл, печален, вечен.
Взлетающий из вод — хитёр и серебрист.
И встретятся ль они, когда остынет вечер,
Когда забудётся день, как облетевший лист?

Ныряющий с моста, крича, протянет руки,
Но унесёт его резины жадной жгут,
Туда, где у воды дебелие старухи
Намокшее бельё ладонями жуют.

Взлетающий из вод без видимой причины
Застынет, закричит, затихнет и умрёт:
Его стреляют влёт солидные мужчины,
Там, где летит к земле горящий вертолёт,

Где непослушный винт закатом перерезан,
Где не узнаешь зло, и не найдёшь добро...
Ныряющий с моста стоит, до боли трезвый,
И смотрит, как река уносит серебро.

Как бы ни было холодно в нашей стране,
Мы согреем друг друга последним теплом.
Не бывает судьбы веселей и странней,
Чем бороться с добром и мириться со злом.

На излёте стрелы, на изломе веков,
В том краю, где пустой не бывает судьбы,
Мы теряем друзей и находим врагов,
И не прожитый день отдаём без борьбы.

Только петь, даже если дыхания нет,
Только жить — даже если свеча оплыла,
Не надеясь, что тихий останется след,
Выгорая дотла, выгорая дотла.

Грузинские имена

В подвале, там, на Руставели,
Где меньше пили, больше пели,
Где я простужено сипел,
Ираклий к дамам крался барсом,
И Заза неподкупным басом
Как сами горы, мрачно пел.

Вода со вкусом земляники,
На стенах сомкнутые лики
Людей, зверей и вечных лун.
Я пел тихонько, лишь для вида,
И слушал баритон Давида...
Дато был сед, а Важа — юн.

И шашлыки нам нёс Левани,
Мераб с Нодаром наливали
И выпевали каждый тост!
Алаверды от Амирани —
Мы пели, словно умирали.
Шота был строен, Цотне — толст...

Но видел я в дверную щёлку:
Варилось время, как сгущёнка,
И там, на дальнем рубеже,
Железный век спешил к закату,
И эти чудные ребята
Вошли в историю уже.

Но если ночь моя бессонна,
То вспомню я Виссариона,
Тенгиза, Джабу и Беко....
И отпадёт с души короста,
И уходить мне будет просто,
И жить по-прежнему легко.

Вечер лошади

Эта лошадь ходила по лугу,
Эта лошадь ходила по кругу
И как будто несла беду.
Были пятна на шкуре ржавы,
На задворках большой державы
Лошадь плакала на ходу.

Усмехались кобылки криво,
Малолетки неслись пугливо,
И брезгливо смотрел жеребец,
Как старуха терпела пытку,
Как разбиты её копыта,
Как её погоняет бес...

Но в ушах, но в небесной выси
Пели скрипки и трубы выли,
Было всё, как во сне, во сне...
И всюю развевалась чёлка,
И вертелась юлой девчонка
На широкой её спине.

Лошадь слышала гром оваций,
Но со славой легко расставаться,
Если розданы все долги,
Если смерть ничего не значит!..
На лугу цирковая кляча
Нарезала свои круги.



СЕВЕРА

Редчайший случай, когда я что-то написал «на заказ»!

Сподвиг меня на это деяние Владимир Берязев, который вспомнил мои рассказы в коктейльной компании об армейском путешествии по сибирским Северам — от Енисея до реки Яны — и пообещал опубликовать в руководимом им журнале «Сибирские огни» стихи об этом. Если, конечно, они получатся.

Я работал над этим циклом яростно, заново переживая те мои приключения. Кусками отсылал Володе, и его сдержанные похвалы меня ещё больше подстёгивали.

Пришло время, и номер СибОгней с моим циклом появился!

С таким напряжением и радостью я, пожалуй, сочинял разве что повесть в стихах «Мир Ольги»!

И ещё — какой же тогда, при Володе Берязеве и его команде, «Сибирские Огни» был замечательный журнал!

Река Яна

Там, где мамонты ворочаются в мерзлоте,
Там, где древним змеем тёзка моя течёт.
Сотням тысяч оленьих горячих тел
Потеряет счёт обмороженный чёрт.

Как давно я выжил в этих местах:
Лена, Яна, Индигирка и Колыма.
По воде идёт онемевший страх,
Это дышат в спину зима и тьма.

Что-то молодость моя молчит подо льдом,
Где прошедшая жизнь — по воде круги...
Мы по ранней шуге катерами идём
От посёлка Северный до Усть-Куйги.

Выгибает реку хан-рыба таймень,
Впереди как небыль — аэропорт.
Заглуши мотор, и веслом табань,
На прощанье спирта плесни за борт.

Ледяная крупа мне стучит в окно,
Спирт из фляги рухнет туда, в живот...
Только Северный сгинул давным-давно,
Ну, а Усть-Куйга — ничего, живёт.

Енисейское

Расскажу, как я не мог прибиться к берегу:
Енисей меня крутил-вертел отчаянно,
И спина его была от пены белая,
И осталась позади тоска причальная.

А я сломанным веслом, дуря, размахивал,
Песни пел, и слёзы лил разменной мелочью.
От Игарки ельник мне, сойдя с ума, кивал,
Я бы Богу помолился — не умел ещё.

Как я спасся, как я выгрёб, как лежал в траве,
Как товарищи вливали водку в глотку мне,
Всё забыл, остались только крохи жалкие,
Стариковские мои огни болотные.

И увидеть не помогут ни одни очки,
Как несёт меня тугой поток на лодочке,
Как висит вся жизнь моя на тонкой ниточке,
Как бежит мой друг по берегу в пилоточке...

Колдовская трава

Мне бы уехать в Сибирь за травой,
Дикой, медвежьей, горячего рода,
Недоглядела однажды природа,
Вот и пробилась под клёкот и вой.

Мне на Таймыре о ней прокричал
Старый шаман, почерневший от гнева,
Он обещал, что обрушится небо,
И покачнётся начало начал.

Он говорил, что ворвётся трава
В каменный день, позабывший о чуде.
Зверь или птица прознают, почуют,
И доберутся, и смогут сорвать,

И принесут: забери и уйди! —
Чтобы увидел я, тая от страха,
Вот, разлетается мир, как рубаха,
Та, что когда-то рванул на груди.

Буду бурханить* у тёмной воды,
Буду спрашивать древнего духа,
Чтобы лишил меня зренья и слуха,
Чтобы не видеть мне этой беды...

Смехом подавится птица: «Увы,
Как же наивны, доверчивы люди!
Этой травы больше нет и не будет.
Выдохни, плачь, если сможешь — живи».

* — *задабривать древнего духа молоком или водкой.*

Планета Снегирь

Планета называется Снегирь.
Вокруг двух солнц — Урала и Кореи
Она несется, плаваясь и шалея,
Вдоль по Оби, и в круге Енисея,
Во всю свою немыслимую ширь.

Над ней два спутника с повадками зверей
И рыба Бийск с раскосыми глазами,
Шаманы с расписными голосами
И бубнами из шкур нетопырей
Уходят в подпространство, как в запой.

Я там делился спиртом и тоской
И гнус кормил в тайге под Верхоянском,
Где вспарывает белое пространство
Над каждой переписанной строкой
Упряжка золотых моих собак.

Планета называется Не-Враг.
Сказал бы — Друг, но помню эту стужу,
И третий страх, просящийся наружу,
Когда у вездехода сорван трак.

Он третий, и последний. Первых два
Мне помогла осилить голова.
Планета по прозвищу Снегирь,
С тобой не совпадет моя орбита.
И розовые перья все побиты,
И медный полюс, вытертый до дыр...

Мне бы уехать. Завтра же. В Сибирь...



**ПО ОБЛАКАМ
ПЕРНАТЫМ**

Наверно, там, где все мы будем вечно,
Мои собаки и мои коты
Замолвят за меня своё словечко
Без пафоса и брэнной суеты.

Поскольку будет времени навалом,
Покуда перечтут мои грехи,
Мы пролистаем нашу жизнь с начала,
Освободив от всякой шелухи.

Пусть ангелы считают каждый атом —
Мы в небе растворимся без следа,
И побежим по облакам пернатым,
Не подождав решения суда.

Что же сердцу сегодня неможется?
Новый снег облепил провода,
И собаки умильная рожица
Утешает уже не всегда.

Выйдем с ней в отраженье туманное,
Сквозь промёрзшее злое стекло,
Где позёмка гуляет, как пьяная,
Где чужие следы занесло.

На деревьях вороны скандальные
Нам пророчат неласковый час.
Небо чистое, звёзды дальние
Всё для нас...

Во сне идут ко мне мои собаки,
Мои коты во сне идут ко мне.
И не бывает между ними драки,
Они едины в этом светлом сне.

Я, как на дне, сквозь воду вижу знаки —
Созвездье Пса и Млечный путь Кота,
Я их следы рисую на бумаге,
И медленно уходит пустота.

Всё это невозможно потерять —
Кошачий плебс, и с ним собачья знать,
Лишённые зазнайства и гордыни.

Одна любовь их возвращает в сон —
Туда, где даже дышим в унисон
Чудесным летним запахом полыни.

Вскипели яблони и вишни,
И белой пеной изошли,
Как будто на рассвете вышли
Из обезумевшей земли.
Так вырвались они из мрака,
В тот час, когда прощенья нет.
И ошавшая собака
Вдыхает этот божий свет!

Скупые времена достались простофилям,
А я беру собаку и ухожу во тьму,
И жёлтая луна, как одноглазый филин,
Бессмысленно летит по следу моему.

А морозящий дождь нам добавляет мрака,
И всё же страха нет, хотя фонарь погас.
В любые времена, когда с тобой собака,
Легко дойти туда, где ждут и любят нас.

Ну, вот и всё, погас и облетел
Осенний день, привычно суматошный.
Небесный волк, пока что злой и тощий,
Грызёт луну, и нет важнее дел.

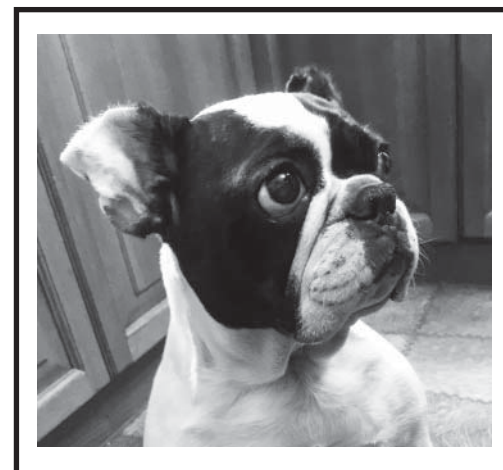
Ещё вчера я пялился в тоске,
На жёлтый блин, повисший над забором,
И город надрывался птичьим ором,
И билась жила на моём виске.

На лике убывающей луны
Уже видны следы слепого мрака...
Но тише, тише, спит моя собака!
Луна, и волк, и я — всё это сны...

Идет зелёная волна,
В мои глаза — до края.
И что-то, наподобье сна,
Меня в себя вбирает.
Земля уходит из-под ног,
Я становлюсь всё меньше.
И говорит: «Привет, сынок!»
Отец, давно умерший.
И, словно детский петушок,
Во рту секунды тают,
И так без боли хорошо,
Как вовсе не бывает.
Но удержаться я не смог —
Лицо собака лижет,
И возвращения порог
Становится всё ближе.
Я принимаю эту боль —
Пусть ноет звуком альты...
Не беспокойся. Я с тобой.
Давай вставать с асфальта.

Лунная дорога

Когда я по лунной дороге уйду,
 Оставлю и боль, и любовь, и тревогу,
 По лунной дороге, к незримому Богу
 Искать себе место в беспечном саду,
 По лунной, по млечной...
 И лёгок мой шаг,
 Пустынна душа, этим светом омыта,
 По лунной дороге, вовеки открытой,
 Легко, беспечально, уже не спеша,
 Уже не дыша...
 И мой голос затих.
 Два пса мне навстречу дорогой остывшей,
 И юный — погибший, и старый — пожив-
 ший,
 И белый, и рыжий. Два счастья моих.
 И раны затянутся в сердце моём,
 Мы вместе на лунной дороге растаем —
 Прерывистым эхом, залиvistым лаем.
 И всё. Мы за краем... за краем...
 Втроём.



**ИЗ «ДИАЛОГОВ
 С ТАШЕЙ»**

Уже много лет назад умерла наша любимая французская бульдожка Китти л`Этуаль де Франс, Катька.

Щенком мы её забрали у хозяйки, собачка погибала от энтерита, выходили и оставили себе. Любили мы эту яростную и отважную пёску как спасённого ребёнка, очень сильно. Прожила Катька 11 лет.

Только её похоронили, как на следующий же день произошла совершенно мистическая история: невестка Наташа с моими внуками ехала к нам в гости, утешать мрачного меня и рыдающую мою жену Надю, и на трассе увидела ... французскую бульдожку, которая металась между машинами, чудом не попадая под колёса. Естественно, забрали с собой.

А у нас раздался телефонный звонок, и мелкий внук Максим Максимович прокричал в трубку:

— Катя не умерла, мы её нашли!

Потом, конечно, он всё понял и назвал зверюшку Ташей, в честь своей мамы.

Наша найдёнка, хотя и имела породную татуировку, говорящую об аристократическом происхождении, вела себя как чистая беспризорница, шпана детдомовская и Маугли одновременно. Команд не знала, гулять и играть не умела, всего боялась. Украла буханку чёрного хлеба, половину слопала, остальное заныкала, нашли по крошкам. Помойный пакет разгрызла, еле отобрали рыбки кости. То, что ей давали, заглатывала стремительно, оглядываясь и огрызаясь по привычке, чтобы «другие собаки» не отобрали. Совершенно была не социализирована. Хулиганила – лазила по столам, всё скидывала. Писала на постели – метила дом...

Но постепенно оттаяла – сколько же в ней оказалось жажды любви! И потом, когда приходил домой, вцеплялась зубами в штаны и так ходила за мной, не отпускала.

По коду татуировки я определил, что ей было года три, она из питомника в небольшом волжском городке, ну – такого, где собаки сидят по клеткам и рожают после каждой течки щенков на продажу. Когда изнашиваются, их усыпляют или выкидывают. Наша зверюшка выдержала недолго, рожала 3-4 раза, и заболела – вся покрылась болячками и коростой. К тому же зверикам в таких питомниках дают мало воды, чтобы меньше писали (с собачками не гуляют, и обслуге лень убирать опилки из клеток), и Таше загнали почки до крайности. Вот её и завезли в лес, и бросили. Она, видимо, вышла из леса на трассу, и попала под машину...

Дети Ташу возили в Москву к хорошему звериному дерматологу, мы лечили собачку всю её жизнь, хотя потом шкурка была чистенькая, и не чесалась почти.

Когда мы немного её привели в порядок, оказалось, что она беременна, но врач сказал, что выносить нормальных щенят и родить у неё сил не хватит. Пришлось сделать операцию.

Спала у Нади под одеялом, иногда ночью начинала плакать.

Быстро выучила все команды, но предпочитала, чтобы с ней говорили по-человечески, и просили, а не приказывали.

Сначала девочка дичилась и – так, иногда есть попросит или напомнит, что пора гулять... Но потом освоилась и разговорилась, порой даже стихами!

Некоторые наши диалоги я и записывал, и эта коллегия постоянно пополнялась.



ДИАЛОГИ

Когда веду хозяина
По лужам погулять,
Нельзя его, раззявину,
Забуть и потерять!
Я для него — полезная:
Шагает налегке,
А я ташу болезного
На длинном поводке.

— Папа, я опять села писей на крапиву, — доложила мне Таша, плюхаясь на грязный пол находящегося в ремонте деревенского дома своим стерильным брюшком. — Можно я теперь пойду с местными собачками подерусь?

— А если они откусят тебе твою аппетитную попку? Твой друг Джек зимой помер, некому теперь тебя защищать...

— Ну ладно, — легко согласилась наша француженка, — тогда я пойду лягушек ловить...

— Иди, глупышка, — бросил я вслед.
— Сам дурак, — донеслось издалека...

Однажды за полночь гулял с Ташкой по противоположному сырому пространству. Оба шли унылые и несчастные.

Но тут пёска углядела одинокую фигуру дяденьки богатырского сложения. Он стоял возле недавно открывшегося напротив нашего дома грузинского ресторана — огромный, в безрукавке, и от голых его бицепсов шёл пар!

Ташу хлебом не корми — дай с кем-нибудь познакомиться. Она заскакала мячиком вокруг такой эффектной игрушки, потом поняла, что большие люди не бывают злыми, и дала себя погладить.

Дядя с очевидным грузинским акцентом басом запричитал над зверюшкой. Мы познакомились, он оказался музыкантом из этого ресторана и немедленно заявил, что я просто обязан как-нибудь зайти и послушать их замечательный ансамбль!

А я рассказал ему о моей давней любви к Грузии и путешествиях по Кахетии, Хевсурии, Сванетии...

Потом он немножко нам с Ташей спел, а я почитал ему пару моих стихов о Грузии, чем вызвал бурный поток восторгов... Тут и его такси подъехало.

Мы пошли домой, и Таша мне сказала: “Ну как же чудесно встречать лунной ночью только хороших людей!”

Возле того же ресторана, у двух лежащих крашенных львов:

— Папа, эти львы — сиротки?
— С чего ты взяла, девочка?

— Но они же брошены как попало! Прямо как я, пока вы меня не подобрал...

- Таша, дай лапочку!
- Тебе насовсем или подержать?..

Позавтракав полной миской своей гипоаллергенной преснятины, Таша взгромоздилась на персональный табурет и принялась нас гипнотизировать...

Кусок застревал в горле.

Поскольку неедящий хлеб я забыл вчера купить обычную надину бездрожжевую черняшку, откупаться от наглой собачки было нечем. Но тут Надя жестом фокусника достала из закромов несколько обломков крекера. Таша такого не пробовала ни разу за всю свою многотрудную жизнь! Она лопала эти кусочки, закатывая глаза, почти выскакивала из шкурки и даже слегка повизгивала.

А потом и я угостил зверьку парой ложек вкуснейшего творожка.

Таша была счастлива: она завтракала на равных с папой и мамой.

— Ну что, подруга, — грустно заметил я, — ждём, когда вылезут родные волдыри?

— За всё прекрасное в этой жизни, папа, нужно платить! — строго ответила Ташка. — А ты что ли не такой? Лопашь таблетки горстями после жареного барашка! И мне, кстати, ни разу не дал попробовать... Схожу тут с ума от запаха...

И гордо ушла в свою полёжку.

— Знаешь, папа, вкуснее сосиски ничего на свете нет! — сообщила мне Таша, без всякого удовольствия сжевав свой гипоаллергенный корм. — И ещё учти — в ней присутствует философский смысл: сосиска существует в пространстве и времени ... только в очень коротком времени... как материальный объект она слишком быстро заканчивается...

Так Таша победила метафизику диалектикой!

— Папа, посмотри, какие у меня мышцы! — воскликнула Таша, любуясь в зеркале своим облезлым торсом. — Я похожа на культуриста?

— ...если только не смотреть на твою упитанную попку!)))

— Но я же девочка, — возмутилась моя собачка, — мне попка — к лицу!

— Попка не может быть к лицу, — это я попытался состричь, — они на разных сторонах организма.

— Пошляк ты папа, и дундук, правильно мама тебя ругает! — обиделась Ташка и ушла досматривать свой дневной сон...

— Папа, как дальше жить? — глаза Таши подозрительно поблескивали, а трогательная кожаная губка вздрагивала...

— Маленькая моя, что случилось? — подхватился я, — Кто тебя обидел!

— Я играла с ящерицей, и случайно наступила ей на хвост... и он... оторвался...

— Ну, — выдохнул я, — это ж не страшно, новый отрастёт! Вот у тебя уже не вырастет, а у неё — запросто!

— Но ящерица разозлилась и сказала, что таких как я надо сразу в бочке топить, и что зря вы меня нашли! — и тут глаза моей собаки наполнились такой неизбывной печалью, что я сам чуть не заплакал.

Долго и сбивчиво я говорил Ташке всякие хорошие, но необязательные слова, и понимал, что эту занозу уже не вытащить.

Теперь буду думать — а вдруг это правда! — вздохнула Таша. — И как с этим дальше жить?.

Знаешь, папа, — обратилась ко мне Таша, — что это мы с тобой гуляем так по-дурацки? Ладно — я, хотя бы нюхаю, кошек гоняю, с коллегами общаюсь... А ты про-

сто болтаешься там, на другом конце поводка! Так и жизнь пройдёт без всяких событий.

— Чего же ты предлагаешь, моя прелесть? — поинтересовался я.

— А пойдём-ка мы с тобой в магазин «Собакин друг», или как он там называется, да накупим всяких вкусняшек, а то наши уже закончились!

— А пойдём, дружок!

Так мы обрели цель и смысл жизни.

А не пора ли нам, папа, оросить окрестности? — втиевато спросила Таша.

Я заржал, а собачка обиженно заметила:

— Но ты же сам так говоришь!..

И мы стартовали. Я предусмотрительно надел резиновые сапоги ... и попал впросак. На нас обрушился увесистый снегопад. Под ногами хрустело, голова Ташки тут же побелела, и собакин стал работать пропеллером — так, что только уши свистели!

Но мы мужественно прошли намеченный маршрут, честно сделали все дела, и рванули домой — к теплу и еде...

— Вот не знаю, что хуже, — заметила на крыльце Ташка, — жара или вот эта хрень и фигня!

— Что за выражения, девочка? — отреагировал я.

— Ты сам так говоришь! — отпарировала Таша, и так хитренько посмотрела на меня из-под мокрых бровок...

— А мне утой кусочек?

— Таша, не «утой», а «тот»!

— «Тот» — это маленький, который ты мне обычно даёшь, а мне надо большой, утой, который ты сам ешь!

— Ты шавшем шума шашёл, папа! — возмущалась Таша, пытаясь одновременно говорить и опорожнять миску. — Это ж твои одицатьцать тыщцать шагов, а ешли на мои перешшитать, эта шкока ж будет? То-то! — и, до-

жевав, добавила ехидно: — А последний километр ты вообще полз, как дохлая лягушка!

И победительно взглянув на меня, Таша гордо ушла к маме в диван...

Ну, дала Ташка сегодня стране угля, навела шороху, ошарашила компанию!

Гуляли нынче на речке в привычном окружении хасей, лабрадоров, доберманов и прочих ньюфов. Я Ташку время от времени заставлял выполнять ту или иную команду, а потом давал вкусные гипоаллергенные шарики.

Большие пёсы тут же бросались попрошайничать и, с разрешения хозяев, я их тоже наделял лакомством.

Всё было хорошо, пока самый крупный парень кане-корсо, голова которого была как раз с Ташу, не обнаглел окончательно. Когда я протянул своей собачке очередное поощрение, он отодвинул бульку носом и попытался схватить еду с моей ладони. И при этом толкнул папу (меня!) своей огромной лапой! Что, как мне кажется, возмутило Ташу больше всего. Она бросилась на гиганта с таким яростным воплем, какого от неё никто не ждал. И боевой мордovorot ... буквально отлетел, растерянно отмахиваясь от атакующей мелочи лапами.

Пока корсика успокаивали и жалели, Ташка шугнула ещё пару больших собак, а на закуску яростно прогнала прибудившегося к компании ничейного пса...

— Чего это ты, мать, так сегодня расскандалилась? — спросил я зверьку по дороге к машине.

— Знаешь, папа, — ответила она, — когда все вокруг больше тебя, надо время от времени устраивать им показательную трёпку!..

— Таша, дай лапочку!

— Ну, на!

— А две дашь?

— Бери! (Встаёт на дыбки и протягивает передние лапки)

— А больше можешь дать?

— А то! (Плюхается на спинку и задирает все четыре лапы... А глаза хитрющие, и рот до ушей!)

Снова пришлось перейти на шлейку — ошейник у нашей вечно тянущей и дёргающей Ташки провоцировал боли в позвоночнике, где-то между лопатками((((

— Папаааа, а страаазыыы... — ноет моя собачка.

— Здоровье важнее! — возражаю я.

— Не понимаешь ты женщин... — грустит Таша. — На какие только жертвы мы не пойдём ради красоты!

Однажды Таша меня в очередной раз потрясла.

Пока у папы совсем не писались стихи, Таша всё время что-то ритмично бубнила. И когда гуляла — бубнила, и когда лежала в своём «гнезде», бубнила: «Бубубу, бубу, бу и бу, и бубу...»

Четырёхстопный хорей, привычно отметил я, не сосредотачиваясь.

И, наконец, во время процедуры надевания зимней экипировки, Таша выдала — по-поетски, с пафосом:

Хорошо по-стариковски
На скамеечке сидеть.
Зимы провожать и вёсны,
Потихонечку сесть,

Привечать знакомых кошек,
Взглядом провожать собак.
Понимать, что мир — хороший,
Но сломался, как-то так...

От прогулки ноют лапы,
Это можно потерпеть.
А ещё — люблю я папу,
Вместе с мамой буду петь.

Выживая, дни листая,
Замечает все следы,
Наша маленькая стая
В окружении беды.

— Таша, — восхитился я, — ты взрослеешь, это же настоящие стихи!

— А то, — спокойно ответила пёска, — это тебе не в лужу пописать...

После этого деточка жутко застенялась и убежала в малину, откуда донеслось нервное чавканье... сладкую ягоду она любила!

— Папа, какое это печальное зрелище — пустой стол! Прямо как наша жизнь — она ведь должна быть наполненной...

— Деточка, будешь творожок со сметанкой?

— Вот это другое дело, — глазки Таши заблестели, — и побольше!

Так наша жизнь наладилась.

— Папа, а я бы смогла жить в приюте? — спросила меня Таша, пристально заглядывая в глаза.

— Наверное, девочка, ты же тоже собака...

— Нет, папа, я бы умерла без вас. Нельзя жить недолюбленной.

Таше нравилось быть старенькой старушкой, или, по крайней мере, пожилой леди. Все её жалеют, вкусняшками потчуют, творожком со сметанкой.

Подходит Таша этак к дивану, или к табуретке, взгромождает переднюю половину в нужное место, и начинает поскуливать и кряхтеть — поднимите, мол, бедняжку. И только строгое: «Сама!» — заставляет её, присев и примерившись, запрыгнуть в это самое нужное место.

А как мы залезали в машину — это песня и опупея! Таша ставила на сиденье передние лапки и изображала микро-прыжок. Я ловко ловил её за шкурку костюмчика и швырял на сиденье. Все были счастливы.

Но иногда, забывшись, чаще всего у стола, Таша вдруг, как пружинка, подпрыгивала сразу на всех четырёх лапках и птичкой взлетала на любимую табуретку! Особенно, если у меня в руке был кусочек сыра.

— Папа, — говорила в таких случаях моя собачка, — просто сегодня я получше себя чувствую: и лапы не лопит, и хвост не отваливается...

— С учётом, что вместо хвоста у нас невидимая миру пимпочка в надпопной ямочке.

Ташино творчество неудержимо множилось! Она могла творчески дрыхнуть, а потом открыть свои огромные глаза и возопить: «Папа, записывай!..»

Когда под вечер ноют лапы
И по углам крадётся страх,
Так славно посидеть у папы
На тёплых ласковых руках.

Не хуже это, чем сосиска,
И слышу я едва-едва,
Как шепчет он, склонившись низко
Все наши тайные слова.

Мы это по секрету знаем,
Нам хорошо сейчас и здесь...

А вот была бы алабаем —
Попробуй на руки залезть!

Кормить с ложечки любимую старенькую собачку — это отдельное удовольствие. Ей уже трудновато есть из тарелки, стоящей на полу, а на подставке она побаивается.

— Папа, ты же сам говорил, что старый как мальчик, вот и считай меня щеночком! Ты же не видел меня ребёнком, я тогда ещё жила в плохом месте. Вот теперь и навёрстывай...

Таша, гулявши по набережной и устамши, отдыхает среди цветов.

— Папа, а куда силы деваются? — спрашивает она. — Раньше мы с тобой вон как бегали!

— Деточка, силы — они как деньги, вроде бы много, а потом...

— Потом, папа, кошелек пустой. Но у нас пока ещё мелочишка в кошельке звенит, так что побрыкаемся!.. Ладно, давай я тебе стихи говорить буду.

На закате прохладного дня
В нашем тихом и светлом саду,
Хорошо вспоминать про меня
И серьёзное, и ерунду.

Облака над моей головой,
Так похожи на белых котов.
Мама борется с вечной травой,
Папа ей помогать не готов.
Но зато он смородины куст
Обобрал, и налопался всласть...
Воздух нынче и сладок, и густ,
И чудесно, что жизнь удалась.

Последнее стихотворение Таши.

Как жаль, что собачья судьба коротка.
Растают снега, убегут облака,
Забудется радость прогулок.
Мир станет пустынен и гулок.

Останется только ладони тепло,
И верное чувство, что мне повезло,
И полное счастья мгновенье
От каждого прикосновенья.

Ну как же оставить любимых моих?
Пусть будут стихи утешеньем для них,
И чтобы в неведомой дали
Они без меня не пропали...

Вот так заканчивается эта собачья история и вся
наша неправильная книга.

ЧЬИ ВЕТВИ ДЕРЖАТ ТВОЕ НЕБО...

Давно перевернута последняя страница, а книга всё гудит и гудит в тебе, и с этим надо как-то справиться... Это и личный дневник, пронизанный болью, памятью, любовью, и исповедь целого поколения. В сборнике, где стихи перемежаются с прозой, создавая эффект живого потока памяти, где стихи комментируют прозу, а проза объясняет стихи, высечена Словом история семьи, неотделимая от истории страны. Стихи и проза как смена дыхания, потому что стихи такой действенной силы и напряжения чувств, мысли, что после них нужна короткая пауза спокойного течения, чтобы набраться сил для нового эмоционального погружения в сжатое, как пружина, время.

Мы хорошо знаем, что история одной семьи может отразить историю народа: вся русская классика об этом повествует. Именно повествует – через рассказ, повесть, роман, эпопею. Но лирика, в которой история семьи становится пронзительной историей нескольких поколений, твоей страны, сплетённая в единое полотно силой поэтического слова, ритма и глубокой рефлексией и переживаемой как твоя личная судьба, – это очень редкое явление. Каждое стихотворение книги – и отдельное завершённое произведение, и часть большого полотна, единого цикла, объединенного одним лирическим героем, одной темой, одним поэтическим дыханием. Впрочем, понятие «лирический герой» необходимо, чтобы отделить автора в его биографической ипостаси от автора как творца, а здесь сила произведения как раз в отсутствии этой грани, когда с первых строк становится понятно, что здесь, говоря словами Л. Пастернака, «дышат почва и судьба».

«Родословная» Яна Бруштейна – памятник высокой пробы семье поэта, но так объективно вышло, что она же – и памятник народу нашей страны, поколению военных и послевоенных лет, самой жизни – жестокой, несправедливой, но прекрасной своей силой любви и памяти. Если поэт может так раскрыть тему семьи и рода, что за ней встает во весь рост страна со всеми трагическими испытаниями 20 века и во всей своей духовной силе и красоте, если эта духовная сила не облаком далёким огибает горизонты твоего кругозора, а идёт сквозь кровь и жилы – на разрыв, намертво соединяя плоть и душу и проверяя их друг другом, и при этом словно бы отстраняясь от тебя, отдаёт потоку света, мчащемуся сквозь тебя и ввысь, то это Поэт, который останется с тобой или в тебе навсегда. Закрываешь последнюю страницу и явственно ощущаешь склоненное над тобой Время, его дыхание как своё сердцебиение, память другого как собственную жизнь. Я не раз читала и читаю эти стихи Яна Бруштейна, и давно уже частью моей жизни стали и Муся Пятницкая, которая работала в блокадном Ленинграде и потом полумёртвая была вывезена по Дороге жизни, и Борис Бруштейн, защищавший в то же время эту дорогу, будущий муж Муси и отец автора, единственный из класса, живым вернувшийся с войны, и дедушка Абрам, маленький сапожник, своим неустанным трудом спасавший родных и чужих от голодной смерти, тот самый тихий дедушка, который шил сапоги да ремонтировал в штабе, но при прорыве немцев проявил недюжинную силу и мужество и получил медаль «За отвагу». Могучий дед Матвей, бабушка-блокадница, сушившая сухари всю жизнь, брат, преисполненный огня и веры («Он беден, и ноша его велика: Всевышний да дети. В его бороде утонули века, В глазах его ветер...»)

Поэтический дар автора возвышает частный факт до уровня архетипа. История матери и отца,

больной блокадницы и хриплого фронтовика, – это и история Адама и Евы после апокалипсиса, защищающих жизнь и дающих её в мире, который их искалечил. История любви, сопротивляющейся безумству самой истории. А прадед плотогон Шаул – библейский исполин. Автор умеет дать абсолютно точные, бытовые детали (торговал лесом, пил, тонул) и в то же время создать образ как убедительное художественное обобщение. Но все эти архетипические образы, в чём-то мифологичные даже, вырастают из документальной основы.

Сочетание документального и поэтического оживает не через противопоставление, а глубочайший какой-то алхимический синтез. И если пытаться понять тайну его воздействия, то она в том, что не правда факта становится поэтической, а правда его экзистенциально-эмоционального осмысления. Язык документа сообщил бы: «Её вывезли по Дороге жизни зимой 1942 года», а поэзия расскажет так, что всё это, оказывается, было с тобой и на твоих глазах: «Из ада везли по хрустящему льду Дрожащую девочку Мусю...». Факты – полуторка, лёд, эвакуация; правда – хруст льда под колёсами, скрежет полуторки, проваливающейся в воду, дрожащий в лихорадке ребёнок как состояние Вселенной, сжавшейся до точки и расстреливаемой сверху... Бывают такие стихи, когда невозможно думать о мастерстве автора, а можно только вновь и вновь оказываться там, в том городе, который сроднился с бедой, над Ладогой, и страдать, и радоваться, и печалиться, и торжествовать («Над Ладогой небо пропахло войной, Но враг, завывающий тонко, Не мог ничегошеньки сделать с одной, Почти что погибшей девчонкой») и с облегчением чувствовать радость наслаждения вкусом жизни и вернувшегося простого чуда мирного детства, чувство счастья от того, что есть люди, которым можно довериться, есть помощь и спа-

сение на самом краю этой жизни, взятой в тиски разгулявшейся Смертью («Встречали, и грели на том берегу, И голод казался не страшен... И Муся глотала – сказать не могу, Какую чудесную кашу...»). Поэт обнажает внутреннюю сущность факта, которая правдивее и страшнее любого документа. У жизни и у документа может быть множество деталей, но поэзия отбирает одну, и она становится вселенской. Сапожный клей деда – это его ремесло и факт выживания, но с поэтической точки зрения это символ свихнувшейся реальности, это не придуманный, а найденный в реальности образ. Сухари, хлебные крошки – не просто про факт из жизни бабушки и её странную привычку, это заклинание, материализованная память ужаса: «А бабушка сушила сухари, И понимала, что сушить не надо. Но за её спиной была блокада, И бабушка сушила сухари». Так и моя мама, дитя войны, ни одну крошку хлеба не выбрасывала, благоговейно собирая их ладошкой со стола. Детали, которые отбирает поэт, – это концентрат целой эпохи, её боли и парадоксов. Язык произведения – это его плоть. Язык документа стремится к нейтральности, а поэтический язык болеет тем, о чём пишет. И тогда и ритм, и звукопись, и образы начинают испытывать переживание и рождать его: ритм то рваный, обрывистый, словно попавший в мясорубку, то плотный, то грубый, ямбически-четкий, то лирически-пронзительный.

Книга «Родословная» пронизана идеей памяти, памяти как формы сохранения жизни, борьбы с забвением и распадом. История семьи – это память о войне и блокаде как травме, передающейся по наследству, а Ленинград, Синявинские болота, Невский пятачок – личная боль отца и матери, их родителей, ставшая частью ДНК автора («блокадное во мне эхо»). Это память о предках, попытка понять свои корни и сохранить их, проверяя себя перед ними. Память о детстве, оживающая в ярких осязаемых деталях, о семье как главном оплоте в

мире хаоса и испытаний. Каждый образ прописан с нежностью, любовью и пронзительной точностью. Мама Муся, хрупкая, больная, невероятно сильная духом блокадница как символ жертвенной любви; отец Борис, фронтовик, в нескольких строках о котором вместились бы целая повесть («Мой отец, корректировщик миномётного огня... А когда глаза закроет – то в атаку прёт, как все, То опять окопчик роет на нейтральной полосе, То ползёт, и провод тащит, то хрипит на рубеже...»). В нем ярость, боль, сила, достоинство и великодушие поколения войны. Брат, «Божий хасид», – ещё одна ветвь семейной саги, ещё одно её измерение. И сквозь это личное пространство проступает тема погромов и Холокоста, лубенского рва, где «...по ночам горит земля, не забывая зла. Моя еврейская семья бурьяном проросла», сталинских репрессий и антисемитизма, войны – без глянца, суровой послевоенной жизни. Один из светлых сквозных сюжетов книги – история любви к Наде, музе, спутнице жизни, с пронзительно-прекрасным стихотворением «Когда тебя ещё не было». В стихотворениях, часто представляющих собой монологи, обращённые к сыну, к ушедшим родителям, к самому себе, нет пафоса, только предельная искренность, как в «Стихах сыну», где отцовская тревога передана так безыскусно: «Мальчишка с пристани ныряет. Он нас с тобой не повторяет... Он нам не принадлежит».

И ещё одна часть книги, казалось бы, не связанная тесно с ней, – «Диалоги с Ташей», но на самом деле она значима, раскрывает отношение автора к миру, это форма диалога с ним, уход от тяжёлой человеческой истории к гармонии с природой, её простыми и вечными ценностями любви, верности, сострадания. Через юмор и нежность к братьям нашим меньшим лечится душа, сохраняет доброту и бережное отношение к миру («А морозящий дождь нам добавляет мрака, И всё же страха нет, хотя фонарь погас. В любые времена, ког-

да с тобой собака, Легко дойти туда, где ждут и любят нас»).

Когда читаешь строки цикла «Семья в войне и мире», понимаешь, что здесь нет восприятия в координатах «малое» и «большое». Есть только существующее, проживаемое, а масштаб – явление бокового зрения, которое можно сделать центральным, но только если отстраниться от жизни. Жизнь и Смерть в условиях войны всегда в неравном поединке. И этот поединок идёт ежесекундно, на грани невозможного. В одной строке «почти пропавшая пехота шла на прорыв, как на парад» всё изображаемое – на этой грани: «пропавшая», но «шла», шла на прорыв, по сути, на гибель, но как на праздник, на победный парад. И ещё один образ: «остатки неподсудной роты». Поразительная точность слова. И поразительная многоохватность изображаемого по соотнесённости с пространственно-временным видением: вот мы то рядом с отцом в его бою, то в послевоенном времени («хрипел, во сне крича еврей, похожий на грача»), то вновь в том же военном времени, но взгляд и слух уже не рядом с солдатом, и во сне продолжающим вести свой смертный бой, но над потоком жизни, над судьбами всех, и этот взгляд выхватывает точку жизни, так же балансирующей над смертью, а внутри этого настоящего уже живёт будущее время, когда спасенная на Ладого едва живая девочка станет потом мамой. Но это потом, а сейчас в этом тотальном поединке Жизни и Смерти, где у жизни почти нет шансов, все-таки побеждает едва пульсирующая ее слабая нить. Как? Каким чудом? И выдыхаешь вместе с автором: «Кого теперь благодарить мне За то, что вижу этот свет?..»

Послевоенное поколение мальчишек тоже неразрывно связано с опытом войны через семью и род, и связь эта не рвется, потому что вновь и вновь проживается судьба

родных, и уже с новыми вопросами, новыми чувствами продолжается диалог детей и отцов, отцов и детей, ставших их ровесниками и старше. И время не отдаляет их, а, наоборот, заставляет переживать судьбу родителей как свою собственную и обращаться к ним в попытках постичь ужас испытаний и высоту подвига:

Папа, ты меня не старше, мы ровесники уже.
Слёзы обжигают веки, эту боль в себе ношу.
Ты остался в прошлом веке,
я всё дальше ухожу.
Отчего ж не рвётся между
наша общая судьба?
Это я огонь кромешный вызываю на себя,
Это я с последней ротой, с
командиром на спине,
И в Синявинских болотах
сердце выстудило – мне.

Почему зачастую мы поздно понимаем, как важно было сказать родителям те слова, которые мы не успели сказать при жизни, поздно понимаем ту тяжесть, которую они пережили, где они брали силы, чтобы пройти через горе, муки, испытания и остаться собой? Боль несказанных слов – вечное ощущение вины и взгляд на себя: «Я вот всё думаю – не стыдно ли ему за меня?». Какие разные и какие яркие характеры рода, какие цельные! Но любое слово как зеркало: в нем и отражаемое, и отражающий, поэтому книга – двуединный портрет, созданный мальчиком поры послевоенной, время которых истекает.

«Нахлебались – сами и со всеми, Жили так, что разрывались вены. И плевать, что истекает время Пацанов поры послевоенной», – как бы ни было очевидно бесстрашие перед лицом времени, читатель не может не почувствовать и объективный трагизм этих строк. Прямо названная или косвенно подразумеваемая, так или

иначе смерть присутствует всегда, но характер ее присутствия разный: это и Судьба как неизбежное, внечеловеческое, и Вечность как эхо того, что названо М. Цветаевой «душа сбывлась – умысел мой тайный самый», и Жизнь как пространство границы Смерти.

Книга Яна Бруштейна – это путешествие сквозь время, пространство и память. Это путь и концентрированно-сжатый, потому что книга небольшая, довольно лаконичная, и бесконечно протяженный, потому что вместила жизнь и судьбы нескольких поколений. Его поэзия, словно река, несёт в себе жизнь Ленинграда, где он родился, Пятигорска, где проходила юность, Иванова, ставшего его домом, и бесконечных дорог, по которым движется мысль и чувство. Вольно или невольно возникает обращённость к современной жизни, и хотя она звучит приглушенно, фоновое, показательна строка: «Доматываю долгий век, И в этом гаме и разломе Как Вий, не поднимаю век». Нет, он не даёт антитезы, лишь вновь и вновь обращается к звучащему музыкой прекрасному городу на Неве: «Но – звонкий клавесин ограды, И Летний сад, и зимний джаз, И это право Ленинграда Меня вдохнуть в последний раз». Что человек для города – хороший ракурс, неожиданный. И точный. Можно проверять человека местом, где он родился, прекрасным, которое формировало его, памятью детства. Там, в месте воспоминаний, все ещё живы. Там мама с коляской, где маленький сын, там тоска по ушедшим родителям на склоне своей прожитой жизни («в лодке, ползущей по нищей реке») и счастье чувствовать «матину руку на лбу, Голос – как ветер над быстрой водой: «Мальчик потерянный, мальчик седой...». Там, чудится, вопреки неумолимому времени, когда «и мир застыл. Все тропы заросли Сухой травой и горькими грибам, И только слышится в немыслимой дали: «Сыночек, Яничка, иди скорее к маме!».

В книге нет ни одного случайного стихотворения, ибо высшее искусство – это отсутствие грани между жизнью и искусством. И созданное по этому принципу искусство начинает менять жизнь, трансформировать реальность. Ведь граница – это не линия, а зона напряжённости и взаимообмена. И ценность этой грани не в её существовании, а в нашей способности её осмыслить. На этой пограничной зоне рождаются все вопросы и прозревают ответы. И Ян Бруштейн силой своего таланта умеет вочеловечить душу и сознание. Искусство – не побег из жизни, а способ проживать её беспощадность иначе, глубже, обострённей, уметь считывать её знаки ощущениями ещё в глубоком детстве, как с того коврика с лебедями, в котором переплелись и явь, и сон, и сказка, и горький плач, детские радости и страхи: «Вот коврик: лебедь на пруду, Русалка на ветвях нагая, И я там с бабушкой иду, Тащить корзину помогаю... Но сквозь разрывы, сквозь беду Я вижу: кот идёт упрямо, И пирожками кормит мама Его, и птицу на пруду». В этом стихотворении жизнь и искусство сплетены в неразрывный, тревожный и прекрасный ковёр. В ней сталкиваются несколько пластов реальности: личный и бытовой, фольклорно-мифологический, историко-трагический. И грань между ними взорвана: пушкинские витязи и фашистские танки существуют в одной плоскости. И ключевой образ – кот, который становится символом искусства как сопротивления хаосу. Он воплощение домашнего тепла, простых человеческих забот, его неостановимое шествие сквозь разрывы – это метафора продолжения жизни и вечности искусства. Автор использует культурные коды и реалии жизни, чтобы создать многомерную картину памяти. Так язык искусства превращает личное в универсальное. «И сказки он кричит навзрыд, И песни он поёт, каналья, И цепь его гремит кандално, И дерево его горит!» – мощный аккорд конца на грани слёз, исступления и торжества. Искусство рожда-

ется не как застывшая красота, а как надрывный крик преодоления; кандаальный звон – цена творчества, горящее дерево – это гибель и очищение. Мировое ли дерево, дуб ли у лукоморья – но горит сама реальность, и это не всегда конец, но и преображение. Огонь – и свет, и боль, и откровение. Как тот тихий свет, который остался от матери, «...От них, родных, обглоданных Блокадой, Все, все они ушли, но след поныне свят, Пусть и живём во времена разлада». Как свет, который остался от людей той поры, великих в своей доброте, чувстве сострадания там, где доброта к другому могла стоять собственной жизни. В жизни, где сапожный клей – лучшая похлёбка, спасавшая в блокадные дни не только своих. Она была «и для семьи, и для друзей, И, понемногу, – для соседей...». Это не о похлёбке, а о том, чтобы отдать свою завтрашнюю жизнь сегодня другому. Именно другому, а не чужому. Жизнь, которая жестоко перепахивает безмятежное детство с кровью, когда ребёнок и взрослый оказываются наедине с ношей войны и перед близкими, перед миром. На войне обретается понимание неразрывной связи каждого простого действия, усилия спасти себя со спасением другого – оно отдаляет тьму, так соединялись усилия многих. Да, так можно «на миг отсрочить темноту», но жизнь так и спасалась – по миллиметру. Невозможно жить иначе, кроме как через усилие.

Это и про деда Матвея в эвакуации, который прокормил до конца месяца незнакомого человека, у которого украли продовольственные карточки, устроил на работу, добыл жильё. Это весь народ, который так выразительно и незабываемо встаёт со страниц книги: «санитарка Полинька, с округлой речью, с маленькой намозоленной рукой, Говорила мне: «Пей молоко, еврейчик, Поправляйся, а то ведь совсем никакой». Это радистка Шура со своей трудной судьбой («Пусть на Шуре кофта наизнанку, Но зато она поёт «Смуглянку», В ноты попадая

через раз. Говорит мне: «Выпьем самогонки!» Старый голос – непривычно звонкий И в слезах морщины возле глаз»), это бывший вор Григорий, инвалиды войны с их скорбной судьбой, («Он говорил, не мог остановиться, И бился голос как слепая птица – Казалось, что расколется окно. Он говорил о лагере, о воле, И я, пацан, объелся этой боли, И словно бы ударился о дно»), это стоящие в очередях суровые старухи («Старухи, завернувшись в шали, Приткнули плечики к стене. Они, как лошади, дремали, Не помышляя обо мне. Похмельный инвалид Володя Гармошку тихо тербил И крепко материл уродин, Кто в этом всём виновен был. С подвывом он кричал, и с болью, Обрубок давешней войны, Что загубили Ставрополье, Былую житницу страны!»). И это те сторожа, которые охраняли сады и бахчи от пацанских налетов, их щенячьей лихости («Заканчивались походы чаще всего благополучно: нас или не замечали, или со смехом угощали плодами от пуза»). Эта негромкая доброта народа – не абстрактное морализаторство, а работающая сила внутри человека, укрепление веры в человеческую природу, особенно важная в период всенародных бедствий. Доброта народа – форма сопротивления злу и жестокости, сохранение человеческого достоинства, фундаментальная черта национального характера. Рассказ о прошлом – невольные вопросы к настоящему. Сохранится ли всеобщность связи народа независимо от веры и национальности? Все начинается в семье.

Многие строки стихотворений звучат как останавливаемое время, как будущее в прошлом: «А бабушка скажет «Лехаим», А бабушка даст пирожок... Не время, а мы утекаем, И медленно таем, дружок». И мы вместе с поэтом проверяем себя перед лицом тающего времени, перед памятью поколения, которому досталась судьба жить в «невероятное, счастливое и страшное время». В наше ли пользу сравнение? Неужели нужна была спе-

циальная военная операция, чтобы остановить гибельный путь и восстановить подлинные ценности, на которых воспитывались старшие поколения? Нет, прямо об этом поэт не говорит, но каждая строка – о высоком, подлинном, настоящем. Родословная, род, родина... «Но землю, где наша кровь... никому... никогда!»

Книга Яна Бруштейна не читается, а проживается. И ты смеёшься над хулиганистым пацаном с улицы Шамшева, плачешь над судьбой полуживой девочки Муси и судьбами искалеченных войной инвалидов, учишься выживать в уличных драках, гордишься теми, кто прошёл через все испытания и сохранил в себе человека, с щемящей горечью думаешь о излёте жизни каждого, оглядываешься: кто уцелел? И где другие? Не забывая никого: «Где вы? кто вы? память стёрта, во дворе другой разлив, И разорвана аорта, землю кровью раскалив. Где вы, пьяницы и воры?.. В сладком дыме табака Ваши злые разговоры оставались на века! Вы все живы в том пространстве, в очистительном огне. И с завидным постоянством вы приходите ко мне. Костя, Юрка, Валя, Света – из того смешного дня... Без возврата, без ответа, без меня вы. Без меня»...

* * *

Ян Бруштейн говорит о самом сложном, сокровенном и всеобщем языке, который обращается напрямую к душе, возвращает словам их изначальную свежесть и силу, строит мосты между внутренними мирами поэта и читателя. И. Бродский определил важнейшую способность поэзии быть колоссальным ускорителем сознания. И это подвластно автору книги. Оставить след на воде, остановить ускользающее время, продлить мгновение. Он не доносит до читателя, а преображает его, напоминая, что мы живы, мы чув-

ствуем, мы – часть чего-то большого и значимого. Книга Яна – одна из тех книг, которые выстраивают душу, формируют базовые ценности. И не одно произведение из книги должно войти в наши учебники литературы («Сухари», «Крошки на ладони» и др.) В книге – тот сплав личного и общего, который спасает от забвения, когда слово становится настоящим делом, и помогает человеку обрести внутренние силы, опираться на собственное сердце, чтобы «на излёте стрелы, на изломе веков... Только петь, даже если дыхания нет, Только жить – даже если свеча оплыла, Не надеясь, что тихий останется след, Выгорая дотла, выгорая дотла».

Миясат Муслимова,
*Председатель дагестанского отделения
Союза российских писателей,
Президент Клуба писателей Кавказа,
Лауреат Государственной премии
Республики Дагестан
в области литературы.*

СОДЕРЖАНИЕ

«Мы уже почти неразличимы...» 6

СЕМЬЯ В ВОЙНЕ И МИРЕ

«В далёком скудном городке...» 9

Мама Муся

«На границе города и мира...» 11

«Мой мир застыл. Все тропы заросли...» 12

Она не воевала... 13

«Мама давно не приходит ко мне...» 14

«Из ада везли по хрустящему льду...» 15

Я уже старше 16

«Мой отец, корректировщик миномётного огня...» 17

Имя моего отца 18

Старухи 21

«Мой брат бородат, преисполнен огня...» 22

«Вальсок уходящего мая...» 23

Трамвайное 24

ОСТРОВА

Острова 27

КРОШКИ НА ЛАДОНИ

«А дедушка скажет «Лехаим»...» 31

«Ленинградская моя кровь...» 32

Абрам и Лиза 33

Далеко під Полтавою 34

Блокадные сухари 38

Крошки на ладони 40

«Как все старики, я обрушился в детство...» 41

Мотл, сын Шаула 42

Послевоенное 47

Перекрёсток 48

Точу ножи! 49

Плацкартное 50

Радистка Шура 51

Коврик с лебедями 52

МЕСТА СИЛЫ

Из Петербурга в Ленинград 55

«Всё было там, где утро коченело...» 59

«Мне старая улица Шамшева...» 62

«Прощай, мой умирающий февраль!...» 63

«В забубённом Сестрорецке...» 64

«Остались там душа и слово...» 65

«Это осень, господа!...» 66

«Ленинградские ветры, осколки огня...» 67

«Мой внутренний Ленинград...» 68

ГОРОД У ПЯТИ ГОР

«Небесный город Пятигорск...» 70

«Наденешь ты лодочки лаковые...» 72

«А этот сторож, полный мата...» 74

«Ветер северный, жестокий...» 75

Первое вино 76

«...но очнись, очнись я в Пятигорске...» 79

1961-й 81

Витька 82

Ленинград – Пятигорск 83

«Ах, какие девочки были в Пятигорске!...» 86

ЛЬВИЦА

«Как ночь без звезд...»	89
«Когда тебя ещё не было...»	94
«И как же мало было шансов...»	95
«кинжальная строка секунды срока...»	96
Трио «Меридиан»	97
«Ну что, моя красавица...»	99
«Кто эту женщину придумал...»	100

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КОКТЕБЕЛЬ

«Заколдованный город — не город почти...»	103
«Мальчишка с пристани ныряет...»	106
«Мой последний, беспробудный...»	107
«Во сне береговой черты...»	110
«Красным сбрызнута серая ветошь заката...»	111
«В твоём осеннем Коктебеле...»	112
«Хвала неспящим в Коктебеле...»	113
«В том месте, где песни срывались у скал...»	114

ДЕРЕВО МОЕГО СЫНА

«Шумят берёзы нашего двора...»	117
«Запретный плод, как прежде, сладок...»	119
«Мой сын плывёт среди суровых льдин...»	121

ЛЕСТНИЦА В НЕБО

«Мои друзья ко мне приходят...»	125
Там, где душа твоя летит...	126
«Дом, как парус, под ветром гудит...»	127
«В Кривоколенный переулок...»	130
Лестница в небо	133

БАРДОВЩИНА И ОКУДЖАВЩИНА

«Публиковать меня стали рано...»	137
«Определители звонков...»	140
Железный зверь	141
«Ныряющий с моста...»	142
«Как бы ни было холодно в нашей стране...»	143
Грузинские имена	144
Вечер лошади	146

СЕВЕРА

Река Яна	150
Енисейское	151
Кирпичный завод	152
Шаман	153
Григорий	154
Колдовская трава	156
Планета Снегирь	158

ПО ОБЛАКАМ ПЕРНАТЫМ

«Наверно, там, где все мы будем вечно...»	161
«Что же сердцу сегодня неможется?...»	162
«Во сне идут ко мне мои собаки...»	163
«Вскипели яблони и вишни...»	164
«Скупые времена достались простофилям...»	165
«Ну, вот и всё, погас и облетел...»	166
«Идет зелёная волна...»	167
Лунная дорога	168

ИЗ «ДИАЛОГОВ С ТАШЕЙ»

Миясат Муслимова

«Чьи ветви держат твоё небо...»	183
---------------------------------------	-----

Литературно-художественное издание

Бруштейн Ян Борисович

РОДОСЛОВНАЯ

КНИГА СТИХОВ И ПРОЗЫ

Издательский проект «Русский Гулливер»

russian_gulliver@mail.ru gulliverus.ru

Руководитель проекта Вадим Месяц

***Выпускается в авторской редакции
и с сохранением авторской орфографии***

Вёрстка

Михаила Китайнера

Подписано в печать 24.08.2025.

Формат 60x84¹/₁₆ Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура PetersburgC. Усл. п. л. 11,63 Уч.-изд. л. 12,01.

Тираж 300 экз. Заказ 000000.

Отпечатано с готового оригинал-макета

АО «Т8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект,
дом 42, корпус 5. Тел.: 8 (499) 322-38-30